

Межпределный Меридиан

Karasuma Hidoi



18+

Karasuma Hidoi

Межпредельный Меридиан. Часть первая

<https://litres.ru/74507718>

SelfPub; 2026

Аннотация

Даромир — молодой жрец бога солнца Ярило, чья вера в людей давно пошатнулась, а вера в богов держится на одном упрямстве. Его подруга детства Милица — княжеская дочь, променявшая терем и вышивку на меч и походную дорогу. Вместе с богатырём Олегом они — Золотой отряд: те, кого посылают туда, куда не ходит никто.

Вечером обычного, казалось бы, дня в княжество влетает загнанный гонец: в деревне Ветрень завелась полудница — нечисть, что жнёт людей в самый полдень, когда тень короче шага. Золотой отряд собирается в поход, ещё не зная, что за этой вестью стоит большее.

А с севера, где небо чернеет даже днём, на земли людей надвигается Тьма. И перед ней старые распри — ничто.

Судьба деревни Ветрень окажется лишь первым звеном в цепи, ведущей к великой войне. И Золотому отряду предстоит решить, что сильнее — свет солнца или тьма, что приходит, когда солнце отворачивается.

Содержание

Глава 1. Гонец из Ветрени	5
Глава 2. Дочь князя	33
Глава 3. Путь в Ветрень	54
Глава 4. Тень над деревней	80
Глава 5. Ритуал против тьмы	104
Конец ознакомительного фрагмента.	129

Karasuma Hidoi
Межпредельный
Меридиан. Часть первая
Война с Севером

Глава 1. Гонец из Ветрени

Солнце садится за мол, и вода в бухте становится похожей на медь, только что вынутую из горна. Даромир стоит на храмовом дворе спиной к порту, но запах всё равно находит его — соль, смола, рыба чешуя, подгнившие водоросли у причальных столбов. Ветер несёт этот дух через весь город, мимо торговых рядов, мимо кузниц, до самой каменной ограды храма Ярилы, и Даромир давно привык не замечать его, как не замечаешь собственное дыхание.

Он стоит, раскрыв ладони к последнему краю солнца, и повторяет слова, которые знает наизусть с двенадцати лет.

— Благодарю тебя, Ярило, за день, что дал прожить. За хлеб, что вырос под твоим взором. За тех, кого сохранил ты от хвори и меча.

Слова простые, деревенские почти, но в них — весь смысл закатной службы: не просить, а благодарить. Просят по утрам, когда солнце встаёт и силы у него много и охотно делится. К вечеру Ярило устаёт, как устаёт всякий труженик, и грех тревожить его нуждами, когда день позади.

Ладони теплеют. Свет собирается в них медленно, будто вода наполняет чашу, — тёплое золотистое сияние, без пламени, без жара, только ровное свечение, похожее на отблеск закатного солнца, пойманный в горсти. Даромир чувствует, как оно растекается по коже, поднимается к запястьям, и в

груди отзывается тихим, привычным теплом — не восторгом, не силой, а покоем, каким встречают возвращение домой.

Так бывает каждый вечер уже пятнадцать лет. И всё же сегодня свет ложится неровно.

Даромир замечает это не сразу, а когда замечает — хмурится. На левой ладони сияние гуще, плотнее, будто собралось в комок и не желает растекаться дальше по пальцам. На правой — тоньше, почти прозрачное, дрожит по краям, как пламя свечи на сквозняке. Он сводит руки вместе, пробуя выровнять поток, и на миг ему кажется, что где-то там, в глубине, между светом и его собственной кровью, стоит что-то невидимое — тонкая заслонка, о которую спотыкается благодать.

Он ждёт. Свет выравнивается сам, будто ничего и не было. Даромир опускает руки, потряхнув запястьями, как после долгой работы веслом.

«Устал», — говорит он себе. Три дня назад была стычка с шайкой на дороге к Олышанке, двое разбойников с топорами и один, кажется, знавший заговорное слово, — не маг, а так, обрывок ремесла, украденный у кого-то настоящего. Даромир загнал его силой Ярилы в колено, и тот хромал ещё, когда его вязали. Может, руки помнят усилие. Может, просто вечер холодный не по-летнему, и кровь бежит по жилам не так охотно.

Он закрывает глаза и слушает, как за оградой скрипят це-

пи причалов, как кто-то на пристани бранится с грузчиком за недосчитанный мешок соли, как чайки дерутся над рыбьими потрохами. Обычные звуки обычного вечера. Ничего в них нет тревожного, и всё же тревога сидит где-то под ложечкой, мелкая, как заноза, которую не видно, но которая колется при каждом шаге.

— Даромир, разлётся тут со светом, аж глазам больно, — раздаётся сбоку голос, весёлый и грубоватый.

Он открывает глаза. Двое стражников золотого отряда идут через двор — не в дозоре, судя по расслабленным плечам, а с поста домой, к ужину. Один, Гостята, широкий в кости, с бородой, заплетённой в две косички по кастронскому обычаю, хотя сам родом с Хорсонского посада. Второй — молодой Бориска, у которого усы едва пробились, а гонору на троих.

— Светлое дело делаю, — отвечает Даромир, не оборачиваясь до конца. — А вы что, стражу бросили раньше срока?

— Смена пришла, — Гостята разводит руками, будто оправдывается перед начальством, хотя Даромир ему не начальник, просто жрец при отряде, свой человек, не более. — Тебе бы, отец святой, тоже поесть пора. Кухарка сегодня уху варила, с осетриной. Пахнет — аж слюна течёт.

— Дойду, — Даромир усмехается, впервые за вечер расслабляя плечи. — Обряд не бросишь на середине.

— Ярило подождёт, чай не обидится, — вставляет Бориска с той дерзостью, которая простительна только очень мо-

лодым.

— Ярило-то подождёт, — говорит Даромир, — а вот кухарка твою порцию отдаст Гостяте, если задержишься трепаться.

Бориска фыркает и почти бежит к воротам, а Гостята хочет, хлопает Даромира по плечу тяжёлой ладонью — так хлопают своего, не жреца, и в этом простом жесте больше уважения, чем в любом поклоне. Даромир — не оторванный от мира отшельник в рясе, он в золотом отряде такой же воин, как они, только меч у него другой: не сталь, а свет. И спит он в тех же казармах, и ест ту же кашу, и в бою прикрывает спину не хуже щитоносца.

Стражники уходят, гомоня о рыбе и ещё о чём-то, что заставляет обоих смеяться, и двор снова остаётся Даромиру.

Он поднимает взгляд, чтобы закончить обряд, — и тот сам, без спросу, скользит дальше, чем нужно. Через ограду, через крыши купеческих домов, к самой высокой башне княжеского терема, где под вечерним небом уже горит одно окно, узкое, как щёлка между ставнями.

Он знает это окно. Знает, что за ним сейчас, наверное, кто-то расчёсывает волосы после дневной тренировки во дворе, а может, чистит меч, потому что не любит откладывать это на утро. Знает — и от этого знания в груди что-то сжимается, коротко и больно, как всегда сжимается, стоит взгляду туда забрести.

Даромир одёргивает себя так же резко, как одёргивал бы

коня, чующего волка. Не по чину. Не по праву. Жрец Ярилы не берёт себе жену, не заводит дома, куда возвращаются с поля, — так велено испокон, и не потому что боги завистливы, а потому что сила, данная ими, требует пустых рук, не занятых чужой судьбой. А уж тем более не по чину смотреть в окно княжны, будто простой посадский парень, засмотревшийся на боярскую дочь.

Он опускает голову, сводит ладони перед грудью и заканчивает молитву тем словом, каким начинал:

— Благодарю тебя, Ярило, за прожитый день.

Свет в руках гаснет, впитывается в кожу без остатка, будто и не было. Двор погружается в синие сумерки, и где-то там, за краем моря, солнце уходит совсем, оставляя после себя только память о меди на воде.

Даромир стоит ещё немного, вслушиваясь в тишину, которая наступает после обряда всегда — глухая, плотная, словно мир на миг забывает дышать. И в этой тишине заноза под ложечкой не отпускает, а, наоборот, ворочается, будто что-то на другом краю земли уже свершилось и теперь идёт сюда — медленно, неотвратно, как прилив, которого не остановить никакими молитвами.

* * *

Тишина не успевает осесть — её ломает крик со стороны ворот, хриплый, сорванный:

— Стой! Кто таков? Стой, кому говорю!

Даромир оборачивается на голос быстрее, чем успевает

подумать. Ноги сами несут его через двор, мимо колодца, мимо сваленных у стены копий, и он ещё не видит всадника, а уже знает по звуку — конь идёт не рысью, конь идёт из последних сил, тем нервным, спотыкающимся шагом, каким загнанная лошадь несёт седока последние сажени перед тем, как рухнуть.

Он выбегает за створку ворот следом за стражниками. На дороге, в клубящейся вечерней пыли, шатается конь — гнедой, весь тёмный от пота, с боков хлопьями сходит пена, а на крупе, там, где должны быть шпоры, — рваные полосы, из которых сочится кровь пополам с грязью. Всадник висит на шее коня, вцепившись в гриву, и как только животное останавливается, оседает набок и падает в дорожную пыль тяжёлым мешком.

— Лекаря! — кричит один из стражников, но лекарь далеко, а Даромир уже рядом, опускается на колени возле упавшего.

Гонец — молодой, моложе самого Даромира, — лежит на боку, и лицо его в сумерках кажется вылепленным из сырой глины: серое, ввалившееся, губы синие, будто он долго держал их под водой. Дышит гонец коротко, рвано, с присвистом, и с каждым вдохом сквозь зубы у него сочится сипение, похожее на то, какое бывает у загнанной дичи перед тем, как она затихнет навсегда.

— Воды не давайте, — бросает Даромир через плечо, хотя никто и не пытается, и стаскивает с рук перчатки для верхо-

вой езды, сую их за пояс. — Держите коня, пусть не бьётся.

Он кладёт ладонь гонцу на грудь, туда, где под мокрой от пота рубахой колотится сердце — часто, неровно, будто вот-вот собьётся с ритма и остановится совсем. Кожа под ладонью холодная, слишком холодная для человека, который только что скакал во весь опор.

— Ярило Красное Солнышко, — говорит Даромир тихо, почти шёпотом, и в этом шёпоте нет ни торжественности храмового служения, ни того придыхания, каким читают молитвы перед алтарём, только деловая, привычная сосредоточенность человека, который делает это не в первый раз. — Дай ему дух свой, обогрей стынувшее, подыми упавшего.

Ладонь начинает теплеть, сперва едва заметно, потом сильнее, и от неё, как от печного бока, идёт волна ровного, сухого тепла, пробирающая сквозь мокрую рубаху, сквозь кожу, глубже — к самому сердцу, что бьётся под пальцами. Даромир чувствует, как это тепло уходит из него самого, вытекает откуда-то из-под грудины, будто он делится не жаром, а частью собственного дыхания, и знает — потом, ближе к ночи, накатит та особая, знакомая усталость, когда веки тяжелеют, а руки становятся чужими, ватными. Это цена, и цена всегда одна и та же: жрец не создаёт жизнь заново, он лишь одалживает своей телом немного той силы, что дал ему бог, и расплачивается за одолженное собственной плотью.

Гонец вздрагивает всем телом, будто через него пропустили ток, и разом хватает воздух — судорожно, всхлипывая,

как нырятьщик, вынырнувший на поверхность после того, как счёл себя утопленником. Синева уходит с губ медленно, нехотя, оставляя после себя нездоровую бледность, но дыхание выравнивается, становится глубже.

Даромир садится на пятки, тяжело выдыхает. Сила вернула гонцу дыхание, но не силы — тело парня, изодранное скачкой, измождённое голодом и страхом, остаётся тем же, что было минуту назад, только теперь способно жить дальше, а не умереть здесь, на дороге у городских ворот. Магия Ярилы лечит рану, а не усталость, возвращает искру, а не заново разжигает костёр. Даромир знает это твёрдо, знал ещё послушником, когда наставник впервые показал ему, как это делается на умирающей от кровопотери собаке, и добавил тогда: запомни, отрок, ты не воскрешаешь, ты одалживаешь время. Не трать его попусту.

Веки гонца дёргаются, приоткрываются, и в узкой щели между ресниц блестят белки, мутные, безумные.

— Ветрень... — выговаривает он, и голос его — не голос, а шелест пересохшей соломы. — Ветрень...

— Тихо, тихо, — говорит Даромир, наклоняясь ближе, кладя руку ему на плечо, не с силой уже, а просто чтобы удержать в этом мире, не дать снова уплыть. — Слышу тебя. Кто в Ветрени?

Губы гонца дрожат, будто он собирает последние силы, чтобы протолкнуть слово через горло, ссохшееся от долгой скачки и, кажется, от чего-то ещё, более глубокого, чем жаж-

да.

— Полудница... — выдыхает он, и на этом слове лицо его искажается судорогой, как от боли, которую невозможно унять никаким теплом ладони. — Она... в поле... детей... старейшина просит... золотой отряд...

Больше он не успевает сказать ничего. Глаза закатываются, тело обмякает, голова падает набок, и если бы не ровное, хоть и слабое, дыхание, Даромир мог бы подумать, что душа отлетела прямо здесь, у ворот, не донеся вести дальше.

Стражники за спиной переговариваются вполголоса, кто-то из них уже послал мальчишку за подводой, кто-то держит под уздцы коня, который стоит, широко расставив дрожащие ноги, свесив голову почти до земли. Даромир смотрит на бледное, безвольное лицо гонца, на кровавые полосы на боках лошади — конь загнан не просто так, конь загнан насмерть, потому что всадник гнал его без остановки, не жалея, значило это, что за спиной у него было что-то худшее, чем усталость, — и та заноза под ложечкой, что не отпускала его после вечернего обряда, вдруг ворочается снова, тяжелее прежнего.

Полудница. Не первая нечисть за последние месяцы, о которой слышал Даромир, но первая, о которой пришли просить так — загнав коня до крови, потеряв последние силы у самых ворот.

— Несите его в терем, — говорит Даромир, поднимаясь на ноги, и голос его звучит ровно, хотя внутри всё сжимает-

ся в тугой узел. — К князю. Немедля. Пусть Гостята бежит вперёд, доложит.

Двое стражников подхватывают гонца под руки, третий уже разворачивает коня, чтобы отвести его на конюшню, обмыть раны и дать воды понемногу, чтобы не загубить животину вовсе. Даромир идёт следом за носилками, которые наспех сколотили из копий и плаща, и смотрит в темнеющее небо, где уже проступают первые звёзды, холодные и равнодушные.

Слово «полудница» отдаётся в груди эхом, глухим, как удар в пустую бочку. Даромир вытирает вспотевший лоб тыльной стороной ладони — той самой, что минуту назад светилась теплом, а теперь просто дрожит от усталости, — и идёт вслед за носилками к терему, туда, где скоро придёт-ся рассказывать князю то, что он только что услышал сквозь бред умирающего.

* * *

Горница князя пахнет воском и сухими травами, что развешаны под потолочными балками с прошлого лета, — зверобоем, чабрецом, чем-то ещё, чему Даромир не знает названия, но узнаёт запах, потому что мать князя, покойная, любила его сама, своими руками собирала на заливных лугах. Свечи горят ровно, без дыма, и от этого лица собравшихся кажутся высеченными из воска сами, застывшими на середине какого-то слова.

Милица уже здесь, стоит у стола, скрестив руки, и косы её,

ярко-рыжие, будто подпалённые закатом, перекинута через плечо — она успела сменить дневное платье на рубаху под кожаный доспех, значит, уже знает, что дело не терпит. Олег входит следом за Даромиром, пригибаясь под низкой притолокой, и от него пахнет конюшной и железом — видно, шёл напрямик от точильного камня.

Князь сидит в высоком кресле, но не как на приёме, а подавшись вперёд, упёршись локтями в колени, и по этой позе Даромир понимает: не для видимости собрал, а для дела.

Гонца вносят на лавку у стены, укрытого чужим плащом, и он открывает глаза, когда Даромир подносит к его губам ковш с водой. Пьёт мелкими глотками, судорожно, будто боится, что воду отнимут раньше, чем он напьётся.

— Говори, — велит князь негромко, но в этой негромкости больше власти, чем в ином крике.

— Государь... — гонец пытается подняться, но Даромир кладёт руку ему на плечо, и тот остаётся лежать, только голову приподнимает. — В Ветрени... третий день пропадают люди. Кто в поле после полудня останется — не возвращается. Бабы видели у колодца тень женскую, высокую, в белом, волоса до пят... она манит, государь, зовёт по имени, и кто откликнется — назад не приходит.

— Дети? — спрашивает Милица сразу, не дожидаясь, пока гонец сам скажет, и голос её звучит твёрдо, будто она уже знает ответ и хочет только услышать подтверждение вслух.

Гонец кивает, и по этому кивку в горнице что-то меняет-

ся, будто холод вошёл через незакрытую дверь.

— Двое малых. Пастушонок и девчонка соседская. Старейшина Ветрени просит золотой отряд, государь, своими силами деревенские не сдюжат, они уже пытались... с вилами да с огнём... — гонец замолкает, и по тому, как дрожат его пальцы на краю плаща, ясно, что он видел больше, чем сказал, но говорить об этом сейчас не станет.

Князь молчит долго, глядя не на гонца, а куда-то в стену за его спиной, где висит старый гобелен с ликом Ярилы, вытканый ещё при его отце. Потом качает головой, будто отвечая своим мыслям, а не собравшимся.

— За месяц это третья весть, — говорит он тяжело. — В Дубках — упыри повадились на скотный двор, в Кривом Броде — Лихо будто через колодцы шастает, соль пропадает, дети сохнут. А теперь Ветрень. — Он смотрит на Даромира, и в глазах его не столько вопрос, сколько усталость человека, который уже понял ответ, но всё равно должен его услышать вслух. — Скажи мне, жрец: с чего вдруг за один месяц столько нечисти расплодилось на южных землях, где сроду тихо было?

— Не знаю, государь, — отвечает Даромир честно, потому что врать князю в такую минуту хуже, чем молчать. — Но полагаю, тьма на севере крепнет — и то, что раньше боялось нашей земли, теперь на неё лезет смелее.

Тишина после этих слов густая, как смола. Милица нарушает её первой, шагнув от стола ближе к креслу князя.

— Дозволь мне идти, отец, — говорит она, и в голосе нет просьбы, только уверенность человека, который решение принял раньше, чем спросил разрешения. — Ветрень в дне пути отсюда, дети гибнут сейчас, не через седмицу.

Даромир смотрит на неё в этот миг дольше, чем следовало бы при князе, и она встречает его взгляд на долю удара сердца — ровно настолько, чтобы оба поняли: страх есть у обоих, и у него за неё, и у неё, быть может, за себя, но ни один не скажет об этом вслух здесь, в этой горнице, при отце и при Олеге.

— Хорошо, — говорит он вместо этого сухо, по-жречески, как полагается перед князем. — Полудницу так просто не возьмёшь, ей нужен обряд в час заката, когда она сильнее всего, и удар в этот же час, пока не подготовится снова.

— Опять обряды твои мудрёные, — фыркает Олег, но в этом фырканье больше облегчения, чем насмешки: видно, ему самому нужно было хоть чем-то разрядить тяжесть, повисшую в горнице. — А я так думаю: увидел баб в белом у колодца — и в лоб дубиной, пока не запела.

— Полудница поёт голосом ребёнка, которого ты сам знал, — говорит Даромир тихо, и улыбка сходит с лица Олега мгновенно. — Она берёт то, что ты боишься потерять, и надевает как личину. Дубиной такое не возьмёшь, Олег, хоть трижды в лоб.

Богатырь молчит, и по тому, как он сжимает и разжимает кулак, ясно, что мысль о пропавших детях уже не даёт ему

шутить.

— Государь, — говорит он наконец, серьёзно, без прежней бравады, — раз дети гибнут, стало быть, идти надобно скоро, покуда ещё кого не сгубила.

Князь долго смотрит на дочь, потом на Даромира, будто взвешивая что-то, что не выразить словами при чужих. В этом взгляде — вся его отцовская тревога, которую он никогда не покажет открыто, потому что перед ним не только дочь, но и воительница, для которой позволение остаться дома звучало бы как унижение.

— Ступайте, — говорит он наконец, и голос его чуть надламывается, хоть и старается он не подавать виду. — Но чтобы дочь моя вернулась ко мне живой, Даромир. Слышишь? Живой.

— Слышу, государь, — отвечает Даромир, и в этих двух словах — клятва более твёрдая, чем любая, произнесённая перед алтарём Ярилы.

— Когда выступаем? — спрашивает Милица, уже глядя не на отца, а на него, и в этом взгляде — прежняя деловая собранность, будто разговора глазами минуту назад и не было.

— На рассвете, — отвечает Даромир. — Полуднице нужен закат, значит, у нас есть время дойти и подготовиться. Спешить сейчас — значит прийти без сил и без обряда.

Князь кивает, отпуская их коротким взмахом руки, и Даромир, выходя последним из горницы, чувствует спиной его

взгляд — долгий, тяжёлый, как у человека, который отдаёт самое дорогое, что у него есть, в руки судьбы и чужого жреческого слова.

* * *

Оружейная встречает Даромира запахом масла и сухой полыни, что развешана по углам от моли и от нечисти поменьше — старая примета, в которую он, жрец, верить не должен, а всё же не спорит с бабками, что вяжут пучки. На дубовом столе перед ним разложены обереги: медные подвески с солнечным знаком, костяные бусины, полоски бересты с выжженными рунами. К походу каждый нужно освятить заново, а до того — обвязать шнуром, чтобы сила не расточилась по дороге зря.

Он берёт первый оберег, крутит между пальцами конопляный шнур, продевает через отверстие в меди и завязывает узел так, как учил его наставник в капище: три оборота по-солонь, один против. Пальцы двигаются сами, память в них давно въелась крепче, чем в голову, а мысли тем временем блуждают вокруг того, о чём думать не следует — вокруг горницы, вокруг взгляда князя, вокруг того, как Милица стояла у окна, не глядя ни на кого, будто решение уже было принято раньше, чем прозвучало вслух.

Дверь скрипит, и он не оборачивается — узнаёт шаг раньше, чем видит.

— Меч мой здесь оставляли на правку, — говорит Милица, входя без стука, как входит всегда, будто оружейная —

не чужое место, а часть дома, где ей позволено всё. Волосы у неё стянуты в тугую косу, но пара прядей, ярких, как рябина по осени, выбилась и лезет в глаза, и она сдвует их движением, доведённым до привычки.

— На той полке, — кивает Даромир, не отрываясь от оберега. — Кузнец точил вчера, сказал, зазубрина на самом острие была, глубокая.

Она находит клинок, вынимает из ножен наполовину, проводит пальцем вдоль лезвия, не касаясь острия — тоже привычка, въевшаяся с детства, когда отцовский оружейник учил её уважать сталь прежде, чем держать её в руке. Меч блестит ровно, без единой щербинки, и Милица удовлетворённо кивает сама себе.

— Помнишь, — говорит она вдруг, садясь на край стола напротив него, там, где обычно раскладывают точильные бруски, — как я боялась темноты? Лет в семь, кажется. Отец свечу в моей горнице на ночь оставлял, а мамка ругалась, что дитя воском изведёт весь дом.

Даромир поднимает взгляд, и что-то в груди у него теплеет от этой картины: маленькая рыжая девчонка, зажавшая в кулаке отцовский меч-игрушку, боящаяся тени под лавкой.

— Помню, — говорит он. — Ты ещё грозилась зарубить того, кто в темноте прячется, а сама под одеяло с головой лезла.

— А ты приходил и молитву читал у порога, — усмехается Милица, — и я думала, что твой бог сильнее моего страха.

Так и заснуть получалось.

— Теперь я сам иду навстречу тому, чего ты боялась, — говорит он, и в голосе его больше правды, чем шутки. — Вот ирония жреческой доли: гоняю тьму молитвой для чужих детей, а от собственной девчонки в детстве отгонял тенями свечи.

— Я не твоя девчонка была, — фыркает Милица, но без злости, скорее с той же теплотой, что расплзается у него внутри. — Я княжья дочь, если помнишь. А ты — служка при капище, что вечно путался под ногами у отцовской дружины.

— Служка, который потом тебя фехтованию учил, покуда наставник твой хворал, — напоминает Даромир, завязывая последний узел на обереге и откладывая его в сторону, к остальным.

Он тянется за следующей подвеской, но рука, будто сама по себе, вместо этого поднимается чуть в сторону, туда, где на плече Милицы лежит выбившаяся прядь. Движение выходит произвольным, почти неосознанным, словно тело помнит что-то, чего разум запретил себе помнить, и пальцы уже почти касаются рыжей пряди, чтобы убрать её за ухо, как делал когда-то давно, ещё подростком, не задумываясь о том, что значит такое прикосновение.

Он одёргивает руку раньше, чем она долетает до цели, и опускает её на стол, будто искал там что-то с самого начала — берестяной оберег, что и так лежит на самом виду.

Жрецы Ярилы не имеют права на семью, ни на жену, ни на дитя — обет, данный богу солнца ещё в юности, у алтаря, под свет первых лучей. Плотская утеха не под запретом, про то в капище не спрашивают, но иное дело — то, что растёт годами тихо, без имени, без права быть названным. Такое не отпускают одной ночью и не забывают одной молитвой.

Милица, кажется, тоже что-то замечает — движение его руки, замерший на середине жест, — но не подаёт виду. Она соскальзывает со стола, поворачивается к своему мечу, снова вынимает его из ножен, теперь уже целиком, и делает вид, что разглядывает клинок с таким вниманием, будто впервые его видит, хотя минуту назад уже признала работу кузнеца безупречной.

— Зазубрина точно ушла, — говорит она в пустоту, ни к кому не обращаясь, голосом чуть более ровным, чем нужно для такой простой фразы.

— Хорошо, — отвечает Даромир, беря следующий оберег и с преувеличенным старанием разматывая шнур, хотя тот и так лежит ровно.

Между ними повисает тишина, не пустая, а плотная, полная того, что оба знают и оба не скажут: она — про долг перед отцом и про то, что за плечами у неё всё княжество, а не только меч; он — про обет, данный не человеком и не князем, а самим солнцем, которое не спросит согласия, если он его нарушит, но спросит цену.

— На рассвете, значит, — говорит она наконец, пряча меч

обратно в ножны резким, отработанным движением.

— На рассвете, — подтверждает Даромир, не поднимая глаз от берега в руках. — Собери запас стрел с серебряным наконечником, полудница боится серебра не хуже прочей нечисти. И тёплый плащ возьми, в Ветрени по вечерам с моря тянет холодом.

— Учить меня будешь, что в поход брать? — в голосе её снова прежняя колкость, привычная, спасительная, та, что позволяет обоим сделать вид, будто минуту назад ничего не повисало в воздухе оружейной.

— Буду, — отвечает он с лёгкой улыбкой, наконец позволяя себе поднять взгляд. — Кто-то же должен, раз отец твой смягчает при виде тебя и забывает напомнить про плащ.

Милица фыркает, вскидывает подбородок, и уходит к двери тем же уверенным шагом, каким вошла, оставляя за собой запах степной травы и стали. Уже у порога она оборачивается, будто хочет сказать что-то ещё, но передумывает и просто кивает — коротко, по-солдатски, — и выходит, оставляя Даромира одного среди берегов, запаха полыни и того, что так и осталось невысказанным между ними в этот вечер.

Он смотрит на свою руку, ту, что чуть не коснулась её плеча, и сжимает пальцы в кулак, будто так можно удержать то, что чуть не вырвалось наружу. Затем берёт следующий берег и снова принимается за узел: три оборота посолонь, один против, как учили.

* * *

У выхода из терема Даромира настигает голос князя.

— Останься на слово.

Стража у дверей вытягивается, но князь Хорсонский коротко махивает рукой, и оба воина уходят вглубь коридора, оставляя факелы гореть в скобах без свидетелей. Даромир останавливается, придерживая перевязь с мечом, чтобы та не звякнула о пояс, и оборачивается. Князь стоит у окна, спиной к закату, и от того лицо его — тёмное пятно на фоне рыжего неба, где солнце уже почти легло в море.

— Ветрень, — говорит князь, не оборачиваясь. — Третья весть за месяц. Перед ней была Осинки, там повадён утащил двух детей за одну ночь. Перед Осинками — рыбаки в Прибое жаловались, что сети приходят пустыми, а в них — что-то живое, только не рыба.

Даромир молчит. Он знает эти вести, он слышал каждую в княжеском совете, но одно дело слышать перечень, и совсем другое — стоять напротив человека, который перечисляет их вслух, будто пытается нащупать в них узор.

— Полудницы в наших краях сто лет не видали, — продолжает князь. — Мой отец её не видал. Дед сказывал байки, но и то — про соседей, не про Хорсон. А тут она приходит в Ветрень, будто по её воле открыли дверь.

— Земля устала родить, — говорит Даромир осторожно, повторяя то, что говорят старухи в деревнях, хотя сам чувствует, что дело не в усталости земли.

— Устала, — соглашается князь и наконец оборачивает-

ся. Лицо у него не старое, но за последний месяц как будто прибавилось морщин у глаз, тех, что появляются не от смеха. — Или что-то за морем и за лесом просыпается разом, Даромир, и толкает всю эту нечисть на нас, как половодье толкает лёд.

Он делает шаг ближе, и в свете факела Даромир видит, что руки у князя сжаты за спиной так плотно, что костяшки побелели.

— Я не жрец и не воин, чтобы судить о таких вещах, — говорит князь. — Я купец в душе, хоть и князь по крови. Я умею считать грузы и слушать, что говорят капитаны кораблей, а капитаны последний месяц говорят одно: с севера идут странные ветра, не по сезону, и птицы летят на юг раньше срока.

Даромир слышал и об этом — краем уха, в разговорах воинов отряда, — но не придавал значения. Теперь слова князя укладываются в тот же ряд, что и полудница, и повадень в Осинках, и пустые сети в Прибое, и от этого ряда становится неуютно, будто наконец разглядел под водой не корягу, а хребет чего-то огромного.

— Я не могу отправить с дочерью больше твоего отряда, — говорит князь, и голос его меняется, теряет всю строгость совета, становится просто голосом отца, устало говорящего у окна на закате. — Ты знаешь почему. Кастрон смотрит, Фреув смотрит, каждый лишний меч, снятый со стен Хорсона, будет замечен, и я не хочу, чтобы соседи решили, будто мы

слабее, чем есть.

— Милица сильнее большинства мечников в моём отряде, — говорит Даромир, и это не льстивое слово, а правда, которую он произносил не раз при князе и без него.

— Знаю, — кивает князь. — Знаю, потому и позволяю ей идти. Но знание это не мешает мне бояться.

Он подходит совсем близко, так что Даромир различает в его глазах не строгость правителя, а ту голую тревогу, какую позволяют себе показать только перед тем, кому по-настоящему доверяют.

— Я прошу тебя не как жреца моего отряда, — говорит князь тихо, — и не как воина, которому плачу жалованье. Прошу как человека, которому верю больше, чем половине своего совета.

Он делает паузу, будто подбирая слова, которые не хочет произносить, но должен.

— Береги её. Больше своей жизни. Если придётся выбирать между её жизнью и твоей — выбери её, и не спрашивай меня потом, правильно ли ты поступил. Я хочу, чтобы ты поступил так без вопроса.

Слова падают в Даромира тяжело, как камень в колодец, и он слышит, как где-то в глубине этого колодца плещет то, что он сам несёт молча уже не первый год: не только долг перед князем и не только обет перед Ярилой, но и то, что не имеет права называться словом, которое просится на язык. Просьба отца ложится точно на то место, где уже лежит эта

тяжесть, и не добавляет новой ноши, а лишь называет вслух то, что Даромир и без слов знал бы делать.

— Клянусь Ярилой, — говорит он, и голос его звучит твёрже, чем он ожидал от себя в эту минуту, — что оберегу княжну Милицу ценой своей жизни, если то будет нужно. Пусть солнце будет свидетелем этой клятвы, и пусть оно спросит с меня, если я её не сдержу.

Клятва произнесена перед человеком, а не перед алтарём, но Даромир чувствует то же самое, что чувствует всегда, давая слово именем своего бога: лёгкое тепло под кожей, будто где-то далеко, за краем неба, солнце на мгновение прислушалось.

Князь долго смотрит ему в глаза. В этом взгляде что-то ещё, кроме благодарности, — вопрос, который вертится на языке, но не находит дороги наружу. Даромир видит, как губы князя чуть шевелятся, будто он хочет спросить, отчего в голосе жреца при имени его дочери слышится не только служебная забота, отчего рука его на пути к двери оружейной чуть задержалась дольше нужного. Но вопрос гаснет, не родившись, князь лишь коротко кивает, один раз, устало опускает плечи и отворачивается обратно к окну, где солнце уже наполовину скрылось за кромкой моря.

— Ступай, — говорит он, не оборачиваясь. — Вам выходить с рассветом, а до рассвета тебе ещё нужно поспать хоть немного.

Даромир кланяется, хотя князь этого не видит, и выходит

в коридор, где стража уже возвращается на посты, будто ничего между ними не происходило. Только на середине пути к своим покоям он замечает, что рука его, та самая, которая чуть не коснулась плеча Милицы в оружейной, до сих пор сжата в кулак, как была сжата всё это время, пока он произносил клятву.

* * *

Храмовый двор пуст в этот час, и тишина в нём такая плотная, что слышно, как шуршит песок под сапогами, пересыпаясь в трещинах старых плит. Даромир идёт вдоль ограды, где на кольях сушатся пучки полыни и зверобоя, и в третий раз проверяет то, что уже проверено: перевязь, где сидит малый нож, кожаный мешочек с солью, освящённой на солнцевороте, и оберег Ярилы на груди, круглый диск с расходящимися лучами, тёплый даже сейчас, ночью, будто внутри него до сих пор дремлет полдень.

Пальцы находят на поясе трещину в ремне, которую он заметил ещё днём и всё не находил времени зашить. Придётся идти так. Дорога до Ветрени неблизкая, и ремень этот повидал больше походов, чем половина молодых стражников княжеского двора, потерпит ещё немного.

Он останавливается посреди двора и поднимает голову.

Небо на юге, там, где за крышами и колокольней виднеется край моря, всё в мелких острых звёздах, как всегда в эту пору года. А на севере — пусто. Не облака, облаков нет и следа, воздух сух и колок, как бывает перед первыми замо-

розками. Просто там, где должны быть Волосыни и должен виднеться край Кола, — ничего. Черная плешь среди звёздного поля, будто кто-то стёр кусок неба мокрой тряпкой и не успел домыть.

Даромир смотрит долго, ждёт, что глаз привыкнет и найдёт хоть слабый огонёк, хоть отблеск. Не находит. Луны нет, ночь безлунная, это он знает и без того, чтобы поднимать голову, но безлунная ночь — не беззвёздная. Звёзды не гаснут оттого, что нет луны. Он служит Яриле не первый год, знает небо не хуже, чем алтарь своего храма, и такого провала над северным краем прежде не видел.

Он ждёт ещё немного, потом опускает голову. Может, туман поднимается со стороны реки, тонкий, невидимый снизу, а сверху застилающий свет. Может, дым от печей в дальнем посаде. Причин можно найти десяток, и все они куда спокойнее той, что просится первой.

Всё равно тревога уже сидит внутри, тонкая, как игла, и не хочет вылезать.

Он опускается на одно колено перед малым алтарём у стены, там, где вкопан плоский камень с высеченным кругом солнца, и стирает с камня пыль ладонью. Хочет зажечь прощальный огонёк благословения перед дорогой, как делает всегда накануне выхода, самый малый, с ноготь, чтобы сказать богу: иду, помни обо мне, и я помню о тебе.

Он складывает пальцы, как учили ещё в отрочестве, большой к безымянному, и произносит имя вслух, тихо, одним

дыханием: — Ярило.

Свет должен явиться сразу, лёгким теплом под кожей ладони, будто он держит над огнём руку и чувствует жар без пламени. Так бывает всегда, столько лет, что он давно не замечает самого чуда, как не замечаешь дыхания.

Сейчас тепло идёт медленно. Даромир держит сложенные пальцы над камнем и чувствует, как сила подходит к нему нехотя, будто по длинной дороге, будто где-то там, за краем небес, солнце сегодня легло спать раньше обычного и не сразу расслышало зов. Он повторяет имя, чуть громче: — Ярило, услышь.

На этот раз свечение появляется, крохотное, размером с зёрнышко, дрожащее золотистой искрой между пальцами, и запах, тот самый, свежий, летний, похожий на нагретую солову, доходит до него слабо, будто сквозь плотную ткань. Искра держится мгновение и гаснет сама, не потому что он отпустил её, а будто сама решила не задерживаться.

Даромир опускает руки на колени и сидит так, глядя на погасший камень.

За все годы служения он ни разу не чувствовал, чтобы бог отвечал через силу. Наставник его, старый жрец Всеслав, говорил когда-то, что мир Прави не устаёт и не спит, что отсюда сила течёт постоянно, как река, и жрецу нужно лишь открыть себе путь, чтобы она нашла его. А сегодня путь будто сузился, будто река где-то в верховьях подмёрзла и течёт медленнее прежнего.

Может, это оттого, что он устал сам, думает Даромир. День был долгий, разговор с князем лёг на плечи тяжелее, чем он готов признать даже себе. Устал человек — устаёт и молитва в его руках, так бывает, старики говорили и об этом.

Мысль соскальзывает, как соскальзывает всегда в такие тихие минуты, туда, куда он старается её не пускать: к оружейной, к свету масляной лампы на волосах Милицы, к тому, как она стояла у стойки с мечами, не замечая, что рука его замерла в воздухе, не дойдя до её плеча. Он давал клятву её отцу совсем недавно, слова ещё звучат где-то в груди, и вместе с ними приходит то, чему нет права быть рядом с этими словами, то, что жрец Ярилы не должен нести в себе, идя оберегать чужую невесту, чужую дочь, чужую судьбу.

Он гонит мысль тем же усилием, каким минуту назад пытался разжечь непослушный огонёк, тем же нажимом воли, и она уходит, нехотя, оставляя после себя лёгкую горечь под языком, вроде послекусия недопитого травяного отвара.

Довольно, говорит он себе. Довольно на сегодня.

Он поднимается с колена, отряхивает штаны от каменной пыли и ещё раз смотрит на север, туда, где чернота так и осталась чернотой, ничем не разбавленной. Расскажет ли он об этом наставнику завтра, до выхода? Пожалуй, нет, не сегодня. Один раз — не знак, один раз может значить что угодно: усталость, туман, дурной сон наяву. Если это повторится, тогда он скажет. Если нет — пусть остаётся тем, чем и должно быть: минутной слабостью человека перед дальней

дорогой.

Он идёт через двор к дверям своей кельи, и шаги его глухо отдаются в пустой тишине, и всё время, пока он идёт, где-то на самом дне груди сидит холодная, неуютная мысль, не желающая уходить вместе со сном: что дорога до Ветрени будет длиннее, чем он думал утром, и что не одна полудница ждёт их там впереди.

Глава 2. Дочь князя

Оружейная встречает Милицу запахом лампадного масла и застарелой смазки, которой Олег натирает кожаные ремни, — тем самым, что не выветривается из этих стен ни зимой, ни летом. Одна лампа горит на крюке возле стойки с копьями, и её свет ложится желтоватым кругом на пол, оставляя углы комнаты в темноте, где смутно белеют кольчужные рукава, развешанные на распялках, будто пустые люди ждут своей очереди ожить.

Ночь на исходе. Скоро запоют первые петухи в посаде за крепостной стеной, а после них — рожки на стенах, и тогда уже не будет времени сидеть вот так, одной, с ремнём в руках.

Она садится на низкую скамью у стойки, притягивает к себе поручи и проверяет каждый ремешок по очереди: тянет, слушает, как кожа держит натяжение, ищет трещины у пряжек. Один ремень скрипит суше остальных — за зиму пересох. Она откладывает его в сторону, чтобы Олег сменил, а после берётся за оселок и клинок, и движение точноного камня по стали становится тем немногим, что заполняет тишину этой ночи, кроме её собственных мыслей, которые расползаются сами, без спроса, пока руки заняты привычным делом.

Точит она ровно, без нажима, — так, как когда-то пока-

зывал отец: не силой правишь лезвие, а терпением. Оселок скользит от рукояти к остриё, и звук выходит негромкий, шелестящий, будто кто-то расчёсывает волосы гребнем. Милица переворачивает клинок, проверяет заточку большим пальцем — не по лезвию, вдоль, — и в этом простом жесте, знакомом до кости, ей вдруг чудится другая рука на этом же месте, детская, слишком маленькая для того, что в неё вложили.

Отец вручил ей первый меч, когда ей было семь. Не игрушечный, не деревянный, каким малым девицам полагается баловаться в саду под присмотром нянек, а настоящий, короткий, но самый настоящий, из тяжёлой стали, с рукоятью, обмотанной сырой кожей. Она помнит, как клинок сразу потянул руку вниз, как остриё чиркнуло по каменным плитам двора, потому что удержать его прямо не получалось, а отец стоял рядом и не поддерживал, только смотрел, сложив руки на груди, и ждал.

— Держи выше, — сказал он тогда. — Меч не прощает слабой руки, дитя моё, ни девичьей, ни мужской.

Она держала, пока плечо не заныло, пока пальцы не побелели на рукояти, и не заплакала — тогда впервые поняла, что плакать при нём нельзя, не потому что он бы отругал, а потому что в его взгляде было нечто такое, что не оставляло места слезам, только ожидание, что она справится сама.

Оселок замирает в её руке. Милица смотрит на клинок, на тусклый отблеск лампы вдоль лезвия, и позволяет себе на

мгновение вспомнить не двор, не тяжесть меча, а лицо отца в тот вечер, когда он впервые сказал ей то, что она носит в себе с тех пор, как соль в крови.

Это было позже, уже не в оружейной, а в его покоях, куда она пришла спросить, почему её учат читать грамоты и считать пошлину с кораблей наравне с тем, чему учат воевод. Он сидел у окна, глядя на гавань, где огни фонарей качались на воде вместе с мачтами, и не сразу ответил, а когда ответил, то не повернулся к ней, будто было легче сказать это в спину, чем в лицо.

— У меня нет сына, — сказал он. — Значит, есть ты.

Тогда ей казалось, что это дар, самый большой, какой отец может дать дочери: право сидеть рядом с советом, право держать меч не для красоты, право быть услышанной, где иных дочерей князей вежливо провожают за прялку. Она гордилась этим годами, несла как знамя.

Теперь, годы спустя, с клинком в одной руке и оселком в другой, она понимает то, что не понимала девочкой: дар и приговор редко приходят отдельно. Ей дали свободу воина, но не сняли с неё того, что несёт всякая дочь князя, — что она сама и есть договор, залог, монета, которой платят за мир, если понадобится. Отец не солгал ей тогда у окна, просто не сказал всего. У него нет сына, и оттого она — не только его дитя, но и его последняя разменная монета, если княжеству будет грозить гибель настоящая, а не та, что можно отогнать мечом в деревенской ночи.

От этой мысли по спине пробегает холодок, будто оружейная вдруг стала холоднее, хотя лампа горит всё так же ровно. Она гонит мысль прочь тем же движением, каким гонит от себя другую, ту, что подкрадывается по ночам чаще, чем следовало бы: лицо Даромира, склонённое над свитком, тёмные пряди, падающие на лоб, когда он молится, и то, как у неё самой перехватывает дыхание в такие минуты, хотя знает — не должно, не имеет права. Воину нельзя думать о таком перед дорогой. Воину нужна ясная голова и твёрдая рука, а не сердце, путающееся под лопаткой, будто птица в силках.

Она сжимает губы, откладывает оселок, проверяет последнюю пряжку на поручах — та щёлкает туго, надёжно, — и затягивает её до упора.

Пора. Небо за узким оконцем оружейной ещё черно, но чернота эта уже другая, не та, что в самую глухую пору ночи, а та, что предвещает скорый рассвет, — суше, будто выцветшая. Скоро придут остальные, и не время сидеть здесь одной с мыслями, от которых пользы никакой ни ей, ни отряду.

Милица встаёт, вешает пояс с ножнами через плечо, берёт поручи под мышку и в последний раз обводит взглядом оружейную, освещённую единственной лампой, — привычный обряд перед всякой дорогой, будто прощание с местом, куда она непременно должна вернуться.

* * *

Двор оружейной ещё тонет в предрассветной сини, когда Милица толкает тяжёлую дверь и выходит наружу. Воздух

здесь другой, чем в оружейной, — сырой, пахнувший морем и остывшим за ночь камнем брусчатки. Она думала, что будет одна в этот час, но у дальней стены, там, где сложены поленья для кузни, уже кто-то есть: широкая спина, знакомая по силуэту даже в темноте, ровный скрежещущий звук металла об оселок.

— Не спится? — спрашивает она, подходя.

Олег не оборачивается сразу, доводит движение до конца, любясь лезвием, которое даже в этом скудном свете отбрасывает узкую полосу блеска.

— Кому спится перед Ветренью, — отвечает он и наконец поднимает голову. — Секира третий день как заточена, а я всё равно точу. Руки сами просят дела.

— Знакомо, — говорит Милица и присаживается рядом на колоду, придерживая поручи на коленях.

Некоторое время они молчат, и в этом молчании нет неловкости — оно из тех, что копится годами общей выучки, общих походов, общих ночей у костра, когда слова были бы лишними. Олег снова проводит камнем по лезвию, и звук выходит долгий, низкий, будто гудит потревоженная струна.

— Даромир сказал, выходим, как рассветёт, — говорит он наконец, не поднимая глаз. — Раньше не поспеем — детей уже не спасти, если ещё кто остался.

— Поспеем, — отвечает она резче, чем хотела, и тут же смягчает голос. — Полудница до полудня в силе не набирает, отец говорил. Тень ей нужна долгая, вечерняя. У нас есть

время.

— Твой отец про полудницу знает больше, чем иной жрец, — усмехается Олег, но без насмешки, скорее с уважением.

— Мой отец про всякую нечисть знает больше, чем хотел бы, — говорит она и тоже позволяет себе слабую улыбку. — Иначе не в проку ему было бы держать золотой отряд.

Она встаёт, разминает плечи, чувствует, как под кожаной рубахой тянутся мышцы спины, ещё не разогретые, скованные после ночи над оселком и раздумьями. Тело просит движения, не меньше рук Олега.

— Пройдём пару ударов? — предлагает она, кивая на стойку с учебными клинками у стены кузни, деревянными, обмотанными кожей на рукоятях, — те, на которых учат новичков и на которых до сих пор разминаются старые бойцы, когда не хотят рисковать сталью раньше срока. — Затекла с вечера.

Олег хмыкает, откладывает секиру и оселок в сторону, встаёт, разминая шею с хрустом, слышным даже отсюда.

— Только недолго. Мне ещё коня седлать.

Они берут по деревянному клинку, расходятся на два шага, и Милица чувствует, как привычно выстраивается тело — ноги чуть согнуты в коленях, вес на подушечках стоп, левое плечо чуть вперёд, как учил отец ещё тогда, когда она едва доставала макушкой ему до пояса. Первый обмен идёт медленно, будто оба ещё нащупывают ритм: удар — блок — шаг в сторону — ответный выпад, отбитый вскользь. Дерево

стучит о дерево сухо, гулко, разносится по пустому двору, и этот звук отгоняет всё лишнее из головы разом, будто выметает сор поганой метлой.

Она уходит от прямого удара нырком, разворачивается, метит Олегу в бок — тот успевает подставить клинок, но чуть запаздывает, и она чувствует, как кончик её деревяшки на миг касается его рёбер прежде, чем он отбивает окончательно.

— Проснулась, — бормочет Олег не то с одобрением, не то с укором, отступая на шаг.

В этом танце — а это именно танец, выверенный, знакомый до последнего движения, — нет места мыслям об отце у окна, о клятве, которую он взял с Даромира, о том, что она сама, может стать, не просто дочь, а разменная монета. Есть только тело, которое помнит науку лучше, чем разум помнит тревоги: удар справа, блок, разворот корпуса, финт левой, настоящий удар — правой, снизу вверх, туда, где у живого противника было бы подреберье. Отец учил её так, будто у него и вправду был не один сын, а трое, и она должна была отвечать за всех троих разом, брать втрое больше, спрашивать с себя втрое строже. Она помнит, как в детстве плакала после падений на этом самом дворе, помнит, как отец не утешал, а поднимал её за шиворот и говорил: снова, — и как это "снова" стало со временем не наказанием, а опорой, единственно твёрдой вещью в мире, где всё остальное менялось и качалось.

Сейчас, разгорячённая обменом ударов, в поту, выступившем на висках несмотря на утренний холод, она ловит себя на том, что впервые за ночь не думает ни о свадьбах, которых от неё когда-нибудь потребуют, ни о лице, склонённом над свитком в свете лампы. Есть только Олег напротив, его тяжёлое, размеренное дыхание, скрип половиц под сапогами и деревянный стук, отдающийся в запястье приятной, честной болью.

Она делает обманный выпад в голову, Олег вскидывает клинок для блока — и она бьёт в открывшийся бок по-настоящему резко, сильнее, чем требовала учебная разминка. Удар получается звонче обычного, Олег охает и опускает оружие, потирая ушибленное место сквозь рубаху.

— Ты сегодня как с цепи, — говорит он, шурясь на неё. — Обычно бьёшь вполсилы поутру, бережёшь меня, старика.

— Какой ты старик, тебе двадцать восемь, — фыркает она, но чувствует, как щёки предательски теплеют, и опускает клинок. — Проснулась просто. Дорога длинная будет.

— Дорога дорогой, — не отступает Олег, разглядывая её внимательнее, чем ей хотелось бы в этот час, — а ты сама не своя со вчерашнего вечера. Отец что сказал?

— Что положено князю говорить дочери перед походом, — уклончиво отвечает она, вешая учебный клинок обратно на стойку. — Береги себя, слушай Даромира, не лезь вперёд отряда. Обычные слова.

Она чувствует, что Олег не верит ей до конца, — по тому,

как он ещё секунду задерживает взгляд, прежде чем кивнуть и отвернуться за секирой, — но не настаивает, и она благодарна ему за эту грубоватую, немногословную деликатность, которой он всегда отличался. Мужчины его склада не умеют выпрашивать чужие тайны, зато умеют держаться рядом, когда тайна давит слишком тяжело.

— Ладно, — говорит он, вскидывая секиру на плечо. — Пойду коня гляну. А ты не мешкай — небо уже сереть начинает.

Она поднимает голову к востоку и видит, что он прав: чернота над крышами и правда стала мягче, будто её развели водой, и первые не то птицы, не то предвестники птиц подают голос где-то за стеной. Она кивает, растирая ноющее от удара запястье, и провожает взглядом широкую спину Олега, уходящую к конюшням.

Внутри неё, там, где секунду назад билось лёгкое, честное усилие тела, снова начинает напирать тревога, будто вода в трюм давшего течь корабля, и Милица понимает, что разминка кончилась слишком быстро.

* * *

Отец находит её у оружейной, где она вытирает клинок ветошью, хотя тот не касался ничего, кроме воздуха и Олеговой рубахи. В руках у него — плащ, тёмно-синий, подшитый мехом по вороту, и она успевает удивиться прежде, чем понимает: он принёс его сам, без Дуняши, без стольника, без всей той свиты, что обычно окружает князя Хорсонского,

будто рой пчёл — цветущую липу.

— Ночи в дороге ещё холодные, — говорит он, разворачивая плащ у неё перед глазами, как купец разворачивает товар. — Возьмёшь этот. Тот, что у тебя, продувает в плечах.

— У меня есть свой, отец, — она откладывает ветошь, но берёт плащ из его рук, потому что отказать сейчас — глупее, чем принять.

— Этот теплее.

Он говорит это так, будто речь идёт о погоде, а не о том, что стоит за его ранним приходом. Милица знает эту его манеру: подойти к главному через мелкое, обжиться в разговоре, прежде чем сказать то, ради чего пришёл. Она наблюдала за ним на советах, когда он вот так же начинал с цены на зерно, а заканчивал войной.

— До Ветрени два дня, — говорит он, глядя не на неё, а на стойку с клинками за её плечом, будто оценивает их годность. — Дорога через лес недобрая, но проезжая. Даромир знает путь, он туда с молодости хаживал.

— Знаю дорогу не хуже него.

— Знаю, что знаешь.

Он наконец смотрит на неё, и в этом взгляде — то, что она видела уже много раз и никогда не умела назвать точно. Не жалость, нет, и не одна лишь тревога. Что-то более тяжёлое, будто он взвешивает её на весах, которые сам не хочет показывать.

— Ты у меня одна, Милица, — говорит он, и голос его

меняется, теряет ту привычную ровность, с которой он разговаривает с боярами и купцами. — Была бы дюжина сыновей — послал бы младшего, и не спал бы всю ночь. А у меня только ты.

— Ты и меня послал.

— Послал, — соглашается он тяжело, будто через силу. — Потому что больше некого. И потому что ты — лучшая, кого я мог послать, из живущих в этом доме. Это не отцовская похвала, дочь, это счёт, который я веду, как князь.

Она молчит секунду, привыкая к этой прямоте, непривычной для него в разговорах с ней: обычно он бережёт её от собственных расчётов, как берегут ребёнка от вида освежёванной дичи. Но сейчас он не бережёт, и в этом — что-то похожее на уважение, которое трогает её сильнее, чем расстрогала бы любая ласковая ложь.

— Ты сам учил меня держать меч, — говорит она, и в голосе прорывается то упрямство, которое отец всегда узнавал в ней раньше, чем в себе. — С шести лет, во дворе, зимой и летом, пока боярыни шептались за спиной, что негоже княжне сабельным делом заниматься. Ты не слушал их. Ты ставил меня против оружничих, будто у тебя есть сын, а не одна дочь.

— Ставил.

— Так не забирай теперь то, что сам вложил. Не говори мне «сиди дома», когда всю жизнь учил идти вперёд отряда.

Он молчит дольше, чем ей хотелось бы, и в этом молчании

она читает борьбу, которую отец обычно прячет за сановным лицом. Наконец он качает головой, медленно, будто соглашается не с ней, а с чем-то внутри себя, что давно решено и от чего теперь поздно отказываться.

— Не забираю, — говорит он. — Хотя, видит Ярило, хотел бы. Каждую ночь хотел бы запереть тебя в тереме, поставить у дверей стражу и сказать себе, что этим спас. Но я не запер. Я дал тебе меч в шесть лет и не отобрал его после, хотя мог бы. Значит, теперь мне нести это до конца, а не хватать назад, когда страшно стало по-настоящему.

— Тебе всегда было страшно.

— Не так, — он произносит это тихо, почти неохотно, будто признание вырывают у него клещами. — Раньше я боялся, что ты упадёшь с лошади или порежешься учебным клинком. Обычный страх, отцовский, какой любой отец несёт за любое дитя. Сейчас я боюсь по-другому, Милица. Я доверяю тебе больше, чем должен доверять женщине твоего звания, — и в этом доверии сам себе выкопал яму. Чем больше я в тебя верю, тем больше теряю, если ты не вернёшься.

Она хочет сказать что-то в ответ, какое-то ободряющее слово, но слова застревают, потому что за его признанием стоит то, что оба знают и оба не произносят вслух: у Хорсона нет других наследников. Ни братьев, ни сестёр, ни дальней родни, которую можно было бы посадить на престол без крови и споров. Она — единственная нить, на которой держится всё княжество, и если эта нить обрывается в Ветрени, под

клыми или под взглядом полудницы, у отца не останется никого, кому передать город, порты, купцов, договоры с соседними землями. Останется только пустое кресло и бояре, готовые рвать друг у друга власть, как псы кость.

Она смотрит на отца и видит, что он думает о том же, — по тому, как его взгляд на секунду уходит в сторону, к окну, за которым сереет небо, будто он ищет там что-то, чего не находит.

— Я вернусь, — говорит она, и это звучит не как утешение, а как обещание, данное самой себе не меньше, чем ему.

— Знаю, — отвечает он. — Знаю, что вернёшься. Я в это верю так же твёрдо, как верю в то, что боюсь.

Он делает шаг вперёд и обнимает её, коротко, неловко, так, как обнимает человек, не привыкший показывать слабость даже собственной дочери. Его руки на секунду сжимаются крепче, чем требуется для прощания, и она чувствует сквозь плащ, что он весь напряжён, будто держит себя силой воли, чтобы не сказать больше того, что уже сказал. Пахнет от него сургучом и воском — запах свитков, которые он читал всю ночь, — и это делает объятие странно домашним, будничным, несмотря на всё, что между ними произошло за последние минуты.

Затем он отступает, поправляет ворот её плаща лишним, суетливым движением, и произносит, уже другим голосом, тем самым, каким разговаривает с боярами:

— Ступай. Даромир и Олег заждались, поди.

Она кивает, перекидывает новый плащ через плечо, а старый оставляет на стойке — заберёт после, если вернётся. Отец уже идёт к терему, не оборачиваясь, и по его спине, прямой и слишком напряжённой для человека, идущего просто по двору, она видит, чего ему стоило это короткое утреннее прощание.

* * *

Двор ещё дышит утренним холодом, когда она выходит к колодцу. Камень оброс инеем по краю сруба, ворот скрипит где-то в глубине, и от воды пахнет землёй и железом — так пахнет всякая вода, поднятая из-под Хорсона, где почва тяжёлая, солёная от близкого моря.

Даромир стоит спиной к ней, склонившись над разложенными на плаще оберегами. Перебирает шнурки, узелки с сушёной травой, костяные бусины — проверяет каждый, как проверяют перед боем тетиву. Русая прядь падает ему на глаза с той стороны, где волосы не выбриты, и он отбрасывает её локтем, не отвлекаясь от работы.

— Обереги от полудницы держат три дня, — говорит он, не оборачиваясь, будто знал, что это она подходит, а не Олег и не кто-то из дворовых. — Потом слабеют. Значит, у нас три дня на дорогу и обряд, если считать от сегодняшнего утра.

— Дорога до Ветрени — два, если не будет дождей, — отвечает Милица, останавливаясь у сруба на расстоянии, которое кажется ей случайным, хотя она сама его выбрала. — Значит, на обряд останется один день. Успеешь?

— Должен успеть.

Он наконец поднимает голову. Свет ещё серый, безлунный, но глаза у него всё равно светятся тем странным золотом, которое не гаснет даже в тени, — жреческая метка, доставшаяся не по крови, а по призванию. Он смотрит на неё коротко, деловито, будто сверяет список снаряжения, и снова опускает взгляд к оберегам.

— Олег уже осмотрел лошадей. Копыта в порядке, подковы новые. Возьмём выючную для припасов — путь неблизкий, а в Ветрени, говорят, с хлебом туго после того, что там случилось.

— Хорошо.

Она произносит это слишком коротко, и оба на секунду замолкают, слушая, как скрипит ворот колодца под ветром, хотя воду никто не тянет. Разговор идёт как положено — снаряжение, маршрут, запасы, — и в этой выверенности, в том, как оба избегают лишнего слова, есть что-то, что выдаёт больше, чем любое признание. Так говорят люди, которые боятся сказать не то, что нужно сказать, и потому говорят только то, что нужно.

Она смотрит на его руки. Пальцы у него длинные, привычные к рукояти меча и к тому же — к плавным жестам обряда, когда воздух перед ладонями начинает дрожать, как над раскалённым камнем, и в нём загустевает свет. Вчера этот свет был неровный. Она видела мельком, краем глаза, во время малого обряда перед вечерней молитвой — вспышка вышла

слабее обычного, будто Ярило замешкался с ответом или сам Даромир не удержал нить между собой и небом. Никто не сказал ни слова, но она заметила, и заметила именно потому, что смотрела на него дольше, чем следовало смотреть на человека, который для неё — просто товарищ по отряду.

Тревога подступает раньше, чем она успевает её распознать: а если магия подведёт его там, в Ветрени, перед полудницей, когда отступить будет некуда? А если тот сбой — не случайность, а начало чего-то большего? Мысль тянет за собой другую, теплее и опаснее, — о том, как выглядят его руки, когда он не творит обряд, а просто держит поводья или подаёт ей воду из фляги в долгом переходе, — и она обрывает себя так резко, что почти вздрагивает.

Хватит.

Она — воин отряда, а не девица, что вздыхает у колодца. У неё меч на боку и клятва перед отцом, и если сейчас, перед самым выходом, она позволит себе хоть на вдох задержаться на мысли о том, что чувствует к этому человеку, — она перестанет быть тем бойцом, каким её растил отец, и станет обузой для всех троих. Полудница не станет ждать, пока она разберётся в себе. Дети в Ветрени не станут ждать.

— Ты готова? — спрашивает Даромир, и в голосе его нет ничего, кроме деловитой заботы старшего товарища, хотя они почти одних лет.

— Готова, — отвечает она, и голос выходит твёрже, чем она рассчитывала, почти резко.

Он чуть щурится, будто уловил в этой резкости что-то не то, что должно там быть, — какую-то трещину под ровным тоном. На секунду его взгляд задерживается на её лице дольше обычного, и ей кажется, что он собирается спросить, всё ли в порядке, но вопрос не срывается с губ. Может, он думает, что дело в отце, в разговоре у терема, в тяжести прощания. Может, он прав отчасти — но не полностью, и от этого «не полностью» ей делается только тревожнее.

Она отворачивается первой, не дожидаясь, чтобы он успел додумать вопрос до конца. Смотрит на ворота колодца, на цепь, покрытую инеем, на серое небо над крышей терема, где вчера была та беззвёздная прогалина, о которой он никому не сказал, — хотя об этом она узнает позже, а сейчас просто отводит глаза, чтобы не выдать, куда на самом деле были обращены её мысли последние несколько минут.

— Тогда идём, — говорит Даромир, сворачивая плащ с оберегами и перекидывая его через плечо. — Олег заждался у ворот.

Она кивает, и они идут через двор рядом, но не плечом к плечу, — с тем нарочитым, будто вымеренным шагом расстоянием, которое оба держат между собой уже не первый год, и которое ни один из них не решается сократить.

* * *

Святилище Лады прячется за храмом Ярилы, в узком крыле, куда почти никто не заходит, кроме тех, кому нужно тихое место, а не громкое. Здесь нет золота, нет высоких ко-

лонн — только глиняный пол, обмазанный охрой, и деревянный образ, вырезанный неумелой, но любящей рукой много лет назад. Милица закрывает за собой дверь и на мгновение стоит в темноте, пока глаза не привыкают.

Свеча у неё в поясной сумке — та же, что она берёт с собой перед каждым выходом, огарок воскового цвета, пахнущий мёдом и травами. Она достаёт кремь, высекает искру раз, другой, и на третий фитиль занимается робким огоньком. Ставит свечу перед образом, в глиняную чашу с остатками прежнего воска, и опускается на колени — не потому, что так положено, а потому что здесь, наедине с Ладой, колени сами подгибаются.

Она не просит победы. Об этом просить бессмысленно — победа приходит или не приходит, и Лада не из тех богинь, что швыряют молнии во врагов. Милица складывает руки и молчит некоторое время, слушая, как за стеной глухо потрескивает утренний мороз, а потом произносит тихо, почти шёпотом:

— Не о том прошу, чтобы вернуться живой. Прошу — вернуться собой.

Собой — то есть той, что не вздрагивает от взгляда, не отводит глаз первой, не носит в груди камень там, где раньше было пусто и легко. Той, что умела смотреть на Даромира, как на товарища по мечу, а не считать, сколько шагов между ними держится нарочно.

Пламя выпрямляется, вытягивается острым языком, и в

этом свете лицо деревянной Лады кажется мягче, чем при дневном свете, — брови не суровые, а усталые, как у женщины, что видела слишком много дочерей, стоящих на коленях перед этим самым огарком.

Милица помнит, как впервые встала так же, только тогда её руки были меньше, а колени — исцарапаны от игры на дворе. Мать сидела рядом, не перед образом, а сбоку, и учила складывать пальцы правильно, не то, что показывают в большом храме, а по-домашнему, проще.

— Лада не любит пышных слов, — говорила мать, пахнущая ромашкой и дымом печи. — Ей говори, как сестре бы сказала. Она поймёт.

Милица тогда не понимала, зачем богине говорить, как сестре, если богиня — не сестра, а что-то огромное и далёкое, как небо. Теперь понимает. Отец не помнит этих слов, братьев у неё никогда не было, чтобы делить с ними память о матери, и выходит, что весь этот маленький обряд — молитва, произнесённая не по-храмовому, а по-семейному, — жив только в ней одной. Она — последняя, кто помнит голос матери таким, каким он был у этого самого огня, у этого самого образа.

От этой мысли в горле встаёт что-то плотное, не слёзы ещё, но их предчувствие. Милица сглатывает и говорит дальше, тем же тихим голосом, каким мать когда-то говорила про урожай и про здоровье соседской корове:

— Дай мне не бояться того, что я чувствую. Не отряду

мешать, не себе мешать этим страхом. А если нельзя иначе — дай хотя бы не срываться на нём, когда мне тяжело.

Она не называет имени. В святилище Лады имена ни к чему — богиня и так знает, о ком речь, если вообще подслушивает смертных, а не просто существует где-то в своём тихом небе, безучастная к мелким людским мукам. Милица никогда не была уверена, что боги отвечают ей так, как отвечает Ярило жрецам — вспышкой в ладонях, теплом на коже. Лада молчит иначе, без знаков, без огня в руках. Её ответ, если он есть, приходит позже, где-то в глубине груди, когда решение вдруг становится легче, чем было до молитвы.

Пламя свечи вздрагивает, качается в сторону, будто по полу пробежал сквозняк, хотя дверь плотно закрыта и ставни заперты изнутри. Милица смотрит на этот наклон дольше, чем следовало бы разумной женщине, которая знает, что от щели под дверью тянет холодом в любую погоду. Ей хочется увидеть в этом что-то большее — знак, что мать слышит её, что богиня приняла слова не как пустой звук. Разум подсказывает: это просто щель, просто утренний мороз ищет любую трещину в стене. Но сердце, то самое, которое она весь последний час пыталась унять, тянется к другому объяснению, более тёплому, и она позволяет себе на один вдох поверить в него.

Огонёк выпрямляется снова, ровный, спокойный, будто ничего и не было.

Милица сидит ещё немного, чувствуя, как холод пола про-

никает через ткань поневы в колени, и это неудобство отчего-то приводит её в чувство лучше любых слов. Она утирает лицо ладонью — не потому, что там были слёзы, а на всякий случай, чтобы никто снаружи не увидел даже намёка на влажные ресницы. Поднимается, отряхивает подол, поправляет пояс с ножнами, будто снова надевает на себя то, что сняла, входя сюда: не одежду, а лицо. То самое лицо воина отряда, ровное и собранное, которое отец учил держать перед строем, перед послами, перед смертью, если придётся.

Она гасит свечу двумя пальцами, чтобы не оставлять огня в закрытом святилище, и на миг вдыхает горький запах паленого фитиля — этот запах она будет чувствовать ещё долго на подходе к Ветрени, вспоминая его вперемешку с дымом полуночных костров.

За дверью — серое утро, редкий снег, оседающий на плечах, и голоса у ворот, где уже собирается отряд: глухой смех Олега, звон уздечки, короткое слово Даромира кому-то из конюших. Милица выходит на этот шум, и холодный воздух бьёт в лицо, забирая последние остатки мягкости с её щёк.

Она идёт к воротам твёрдым шагом, ни разу не оглянувшись на маленькое святилище за спиной, и никто из встречающих её у коней не видит ничего, кроме княжны с мечом на боку, готовой выступить на рассвете против нечисти, что убивает детей в дальней деревне.

Глава 3. Путь в Ветрень

Городские ворота Хорсона отзываются протяжным скрипом, как всегда по утрам, когда петли ещё не разошлись от ночного холода. Стражники у створок — те же, что стоят здесь каждый рассвет, — вытягиваются и склоняют головы, узнавая золотые плащи. Даромир отвечает кивком, коротким, без лишней важности, хотя знает, что этот жест для стражи значит больше, чем поклон. Отряд князя проходит через главные ворота, а не через торговые, — честь, которую здесь оказывают немногим.

Копыта коней стучат по промёрзшей брусчатке, и звук этот, отражённый от каменных стен, кажется громче, чем должен быть в такой ранний час. За воротами дорога уходит вниз, к порту, потом сворачивает на север, туда, где город кончается и начинается то, что уже не город.

Даромир перекладывает седельную суму ближе к колену и, не глядя, находит завязки. Три узелка на каждом обереге, тугие, вплетённые в кожаный шнур ещё вчера при свете лампы. Он пересчитывает их пальцами — привычка, а не необходимость, — и губы сами шевелятся, повторяя счёт. Три дня. Столько держит вложенная в узел сила, дальше нить остывает, и оберег превращается в простую верёвку с узлами, годную только на то, чтобы подвязать что-нибудь в хозяйстве. До Ветрени два дня пути, если дорога не подведёт.

Значит, на всё, что случится там, у него останется только один день заёмной силы, а дальше — только своя, та, что приходит от Ярилы напрямую и не всегда приходит вовремя.

Он вспоминает вчерашний вечер, слабый неровный свет в собственных ладонях во время малого обряда, и от этого воспоминания в груди что-то сжимается туже, чем узел на обереге. Он отгоняет мысль. Не время.

Воздух у ворот пахнет дёгтем — свежепромазанная упряжь на телеге интенданта блестит тёмными потёками, кто-то из конюших перестарался с ведром накануне вечером. Запах густой, тягучий, липнет к нёбу. Рядом, если вдохнуть глубже, ещё чувствуется соль — она приходит с ветром с порта, тонкая, солёная нотка поверх дёгтя и конского пота. Даромир знает: через день эти запахи забудутся. Их сменит другое — сырая земля северных полей, дым чужих печей, а если удача не на их стороне, то и запах крови. Он вдыхает эту утреннюю смесь ещё раз, будто хочет унести её с собой подольше, как берут в дорогу горсть родной земли.

Милица едет чуть впереди и слева, там, где по уставу отряда положено держаться второй по старшинству. Спина у неё прямая, слишком прямая для человека, который не спал толком последнюю ночь, — Даромир видит это по тому, как она держит плечи, будто нарочно не позволяет себе даже на волос ссутулиться. Обычно в седле она сидит вольнее, чуть подавшись вперёд, привычно и уверенно, как сидят те, кто ездит верхом с детства и не думает об осанке. Сегодня в этой

неестественной прямо́те есть что-то от строевой стойки перед смотро́м, а не от обычной верховой езды.

Он замечает это и не говорит ни слова. Что бы ни держало её так натянуто с вечера, это не его дело — по крайней мере, не сейчас, не у ворот, не при Олеге. Даромир отводит взгляд на дорогу впереди, туда, где булыжник переходит в утрамбованный грунт тракта.

— Конь у меня со вчера не жрамши, — говорит Олег позади, слишком громко для утренней тишины, и в голосе у него слышится нарочитая обида, — думал, хоть перед дорогой овса подсыпят. А мне сунули полмешка сена, как приблудной кобыле.

— Тебе бы тоже сена хватило, — отвечает Даромир, не оборачиваясь, — раз всё равно к обеду опять есть просишь.

Олег хмыкает, довольный, что зацепил хоть какую-то реакцию, и что-то бормочет коню себе под нос — не то утешение, не то ругательство. Конь фыркает, тряхнув гривой, и звук этот, простой, живой, немного разряжает утро, будто кто-то отдернул плотную завесу, что висела над отрядом с самого выхода за ворота.

Даромир невольно усмехается уголком рта. Олег умеет это — вставить слово так, что тяжесть в воздухе, которую все чувствуют, но не называют, вдруг становится терпимее. Не потому что шутка хороша, а потому что она напоминает: жизнь продолжается даже перед дорогой к нечисти, кони хотят есть, а люди хотят подшутить друг над другом, и это тоже

часть похода, не менее нужная, чем обереги в суме.

Он снова смотрит вперёд, на дорогу, что тянется вдоль стен, и в памяти всплывает вчерашний разговор с князем — не в зале, не при свидетелях, а во дворе, у коновязи, когда князь взял его за плечо и сказал прямо, без обиняков: береги её, жрец, ценой своей жизни, если придётся. Даромир поклялся тогда так легко, как клянутся в делах, не требующих раздумий, потому что защищать Милицу он и без клятвы поставил бы выше себя. Но клятва, произнесённая вслух, при князе, легла на плечи иначе, тяжелее, чем внутреннее решение, которое он держал в себе годами.

Взгляд его снова находит спину Милицы впереди, прямую, напряжённую, и задерживается там дольше, чем следовало бы простому спутнику по отряду. Он ловит себя на этом не сразу, а спустя два-три удара сердца, и заставляет себя отвернуться, будто отвёл руку от огня. Не время. Дорога длинная, а мысли о ней — роскошь, на которую у жреца нет права ни сейчас, ни после.

Ворота остаются позади, стена Хорсона тает в утреннем сумраке, сером и промозглом, и отряд втягивается на тракт, что тянется вдоль моря ещё немного, прежде чем свернуть на север, к деревне, где, если гонец не приврал, кто-то каждую ночь считает шаги идущих мимо и забирает тех, кто ошибётся со счётом.

* * *

Постоялый двор выступает из сумерек раньше, чем Даро-

мир успевает разглядеть его вывеску — приземистое строение с двускатной крышей, вросшее в развилку тракта, будто держит её на своих плечах уже не первый век. Дым из трубы стоит столбом, не гнётся даже под вечерним ветром, и это Даромир отмечает машинально, как отмечает всё вокруг: хороший знак, значит, печь топлена сухими дровами, а не сырым лесом.

Хозяин выходит навстречу сам, отирая руки о передник, оглядывает отряд быстрым, оценивающим взглядом — коней, поклажу, оружие у пояса, — и называет цену раньше, чем его спрашивают.

— По два медяка с головы за ночь, батюшка жрец, да по снопу сена на коня. Отдельно не считаю, чего уж.

— За два медяка люди в Хорсоне спят на перине с гусиным пухом, — отвечает Даромир, не повышая голоса, скорее для порядка, чем всерьёз надеясь сбить цену. — А у тебя, гляжу, солома в углу и крыша течёт вон там, над печью.

Хозяин щурится, прикидывая, стоит ли спорить с человеком, у которого на груди знак Ярилы, потом махнул рукой.

— Полтора медяка тогда. И сена от меня, не в убыток мне. Даромир кивает, отсчитывает монеты — не потому, что торг ему важен, а потому что привык считать каждый грош отряда так, будто это его собственный, и в дороге эта привычка бережёт больше, чем кажется на первый взгляд.

Внутри пахнет дымом, воском и чем-то землистым — не рыбой, не солью, как в портовых кабаках Хорсона, а сырой

землёй и хлебом, что где-то за стеной. На стол хозяйка ставит миску с репой, тушёной с салом, и котелок ячменной каши, разварившейся до серого киселя, без масла, только с крупной солью сверху. Ни рыбы, ни белого хлеба — здесь, в пяти переходах от моря, о таком уже не помнят.

Олег придвигает миску к себе, пробует, кривится не то от вкуса, не то от того, что ждал большего, но ест исправно, ложку за ложкой, и, не переставая жевать, обращается к хозяину, что расставляет лучины по стенам:

— А путь на север, к Ветрени, каков? Дорога добрая или через болота придётся?

Хозяин замирает на мгновение — руки его застревают на полпути к светцу, — и Даромир, следящий за этим краем глаза, видит, как в лице человека что-то смыкается, будто ставня захлопывается перед бурей.

— Дорога как дорога, — говорит он наконец, глядя мимо Олега, куда-то в сторону очага. — А про Ветрень я вам ничего не скажу, не знаю я про неё ничего, и знать не хочу. — И, не дав Олегу вставить ещё вопрос, прибавляет громче, будто оправдываясь перед самим собой: — Дровишек вам на ночь принести? А то ночи нынче зябкие.

Он уходит за дверь быстрее, чем требуется для того, чтобы принести дров, и Даромир смотрит ему в спину, отмечая эту поспешность так же, как отмечал печной дым: не событие, но метка.

Милица, до этого молча ковырявшая ложкой кашу, под-

нимает голову. Она сидит спиной к стене, лицом к двери — привычка, которую Даромир замечал в ней с детства, — и её взгляд скользит по потолочной балке над входом, где обычно висит пучок травы или конская подкова, оберег от нечисти, какой встретишь в любом дворе от Хорсона до самой границы княжества.

— Даромир, — говорит она тихо, почти не разжимая губ, будто не хочет, чтобы услышал кто-то ещё, кроме него, — над дверью пусто. Ни травы, ни зубьев, ни узла — ничего.

Он поднимает взгляд туда же. Балка чёрная от копоти, гладкая, и вправду ничем не увита, хотя гвоздь для оберега там есть — торчит, ржавый, но пустой, будто с него что-то сняли, а не забыли повесить.

Даромир задерживает взгляд на этом гвозде дольше, чем нужно, и внутри у него что-то сдвигается, тихо и неприятно, как половица под ногой в тёмном доме. В каждом дворе, что он видел на своём веку, вешают оберег хотя бы для виду, хотя бы затем, чтобы соседи не судачили — тут ни для виду, ни для себя. Значит, либо хозяин не боится нечисти вовсе, что само по себе странно для человека, живущего у самой границы беспокойных земель, либо оберег снят недавно и снят не просто так.

Он мог бы сказать это вслух — Милица уже смотрит на него, ждёт, — но вместо этого лишь пожимает плечами и опускает взгляд в свою миску.

— Может, снял на переплавку. Хозяева бедные, железо

тут не валяется, — говорит он, и голос выходит ровным, будничным, таким, каким полагается звучать голосу человека, для которого это не более чем мелочь дорожного быта.

Милица кивает, не до конца веря, но и не настаивая, и Дамир, доедая холодную кашу, думает про себя, что пугать спутников прежде срока — последнее, что нужно отряду в первую ночь пути. Мысль эту он придерживает при себе так же, как придерживал вчера чёрную прогалину на небе без звёзд: не для того, чтобы забыть, а для того, чтобы не тащить чужую тревогу туда, где своей хватает на всех троих.

* * *

Огонь садится, потом снова вспыхивает — Олег кидает в него ветку потолще, и пламя облизывает кору с довольным треском, будто зверь, дорвавшийся до сытной кости.

— ...а он как захрапит, — говорит Олег, разводя руками так широко, что задевает локтем котелок, — а леший-то, слышь, стоял уже занёс лапу, чтоб богатыря за ногу утянуть, да услышал этот храп — и бежать! Думал, медведь в берлоге проснулся не вовремя и злой.

— Врёшь, — говорит Милица, но улыбка у неё в глазах раньше, чем на губах.

— Вот те крест, — Олег бьёт себя в грудь кулаком, — дед мой рассказывал, а деду — его дед. Богатырь тот три дня потом хвастал, что лешего своим носом победил, покуда баба его не огрела коромыслом, чтоб не задавался.

Милица смеётся коротко, но по-настоящему, и этот смех

— первый за весь вечер, что не через силу, — отпускает что-то в груди у Даромира. Он подкидывает веточку в костёр просто для того, чтобы занять руки, и смотрит, как искры взлетают и гаснут раньше, чем долетят до черноты над головой.

— Хорошо смеётесь, — говорит Олег, довольный собой, — а в Ветрени, поди, не до смеха будет.

Слово падает в разговор, как камень в тихую воду, и круги от него расходятся молча. Милица перестаёт улыбаться, не резко, а будто вспоминает что-то, что откладывала на потом. Даромир смотрит на огонь, а не на неё.

— Полудница добрых людей не трогает, — говорит он наконец, скорее по привычке, чем чтобы кого-то успокоить.

— А кто тогда добрый? — спрашивает Олег, и в вопросе больше усталости, чем насмешки.

Никто не отвечает. Треск костра становится громче в этой тишине, будто дерево пытается заполнить собой то, что не сказали люди.

Даромир вдруг тихо, почти не разжимая губ, начинает петь — не для того, чтобы ответить, а чтобы тишина не успела стать тяжёлой. Голос у него негромкий, чуть хрипловатый с дороги, и слова выходят сами, из тех, что он слышал ещё мальцом от бабки-знахарки, когда та полола огород и напевала под нос, не для чужих ушей, а для себя.

— Полудница в полдень ходит, где рожь стоит стеной, кто один в поле — того и манит светлой пеленой...

Олег перестаёт жевать сухарь. Милица подтягивает колени к груди и обхватывает их руками, глядя в огонь так, будто в нём можно увидеть то, о чём поётся.

— ...а кто тень её встретит прежде, чем саму, — Даромир на этой строке чуть медлит, будто спотыкается о собственный голос, — тому уж не воротиться к дому своему.

Слово «дому» повисает дольше, чем должно, и он сам слышит эту заминку — как треснувшую половицу под шагом, — и обрывает пение, не допев следующую строку, тянется к костру и подбрасывает ещё хворосту, хотя пламя и без того горит ровно и жарко.

— Устал я что-то, — говорит он, не глядя ни на кого, и голос выходит суше, чем хотелось бы.

Милица молчит, но взгляд её задерживается на нём чуть дольше обычного — она не спрашивает вслух, отчего голос у него дрогнул на той самой строчке, про тень раньше самой, но по тому, как она щурится, глядя не на огонь, а на его лицо, ясно: заметила. Даромир чувствует этот взгляд кожей, как чувствуют сквозняк из плохо законопаченного окна, и упрямо смотрит в костёр, будто там, в углях, есть что-то важнее.

— Складно поёшь, — говорит наконец она, и в голосе нет ни насмешки, ни расспроса, только ровная, будничная нота, за которой Даромир слышит то, что она не произносит: откуда знаешь так, будто сам видал.

— Бабка пела, — отвечает он, что чистая правда, хоть и не вся, — я запомнил.

Олег, почуяв, что разговор сгущается в сторону, куда лучше не заходить на ночь глядя, хлопает себя по колену и заговаривает громче обычного:

— А знаете, у нас в Хорсоне рассказывают, будто в порту одна рыбачка русалку в сети поймала, да отпустила за перстень серебряный — так с той поры вся её родня без невода домой не возвращается, полные сети рыбы, хоть плачь, куда девать...

Голос у него бодрый, нарочито бодрый, как у человека, что тащит бревно и делает вид, будто оно лёгкое, и Даромир благодарен ему за это ровно настолько, насколько неловко становится за собственную заминку. Но краем глаза он замечает, что взгляд Олега, брошенный на него поверх костра, уже не такой беспечный, как минуту назад — в нём осела та же тяжесть, что и в молчании Милицы, только Олег прячет её за смехом привычнее, чем оба они.

Даромир смотрит на огонь и думает о том, что песню он знает целиком, до последней строчки, где полудница уводит того, кто встретил её тень, за собой в рожь, и оттуда никто не выходит своими ногами. Он не допел не потому, что забыл слова.

Он не допел потому, что вспомнил, чьё лицо видел прошлой ночью в короткой дрёме перед костром — лицо без черт, бледное, как лунный свет на воде, и как оно смотрело на него не с поля, а будто из-за его собственного плеча.

Об этом он тоже промолчит, как молчал о пустом гвозде

над дверью и о чёрной прогалине в звёздном небе. Не потому, что не боится. А потому, что кто-то в отряде должен спать этой ночью спокойно, и лучше, если это будут не все трое разом.

* * *

Костёр прогорел до углей, и от них тянет ровным сухим жаром, не тем весёлым потрескиванием, что было часа два назад, когда Олег кидал в огонь ветки для смеха, глядя, как искры взлетают выше человеческого роста. Теперь всё тихо: Олег лежит на боку, укрывшись плащом с головой, и дышит глубоко, размеренно, как дышит человек, который умеет спать в любом месте и в любую минуту, если знает, что кто-то держит дозор. Милица свернулась ближе к огню, чем позволяла бы себе днём, — во сне люди становятся честнее, теряют выправку, — и лицо у неё сейчас не то, что у бодрствующей: спокойное, без той складки между бровей, которая появляется, когда она вслушивается в лес.

Даромир сидит чуть в стороне, на охапке лапника, спиной к дереву, и держит ладонь раскрытой на колене, как держат чашу, из которой ждут напиться.

Он произносит молитву не вслух — губами, почти без дыхания, чтобы звук не ушёл дальше границы костровища.

— Ярило-батюшка, дай знак, что рука моя тверда...

Слова малой молитвы просты, их знает любой мирянин, кто хоть раз стоял на капище в день летнего солнцеворота, но в устах жреца они не просьба, а ключ, и Даромир поворачи-

чивает этот ключ привычным движением мысли, каким поворачивал его тысячу раз до этого дня.

На ладони проступает свет.

Он идёт снизу, из глубины кожи, будто там, под кожей, тлеет уголёк и кто-то раздувает его дыханием — и в первый миг всё как всегда, тёплое золотистое зарево наполняет горсть, освещает снизу подбородок и переносицу, красит ногти в цвет разбавленного мёда. Но зарево дёргается. Не гаснет и не вспыхивает ярче — просто спотыкается, как спотыкается пламя свечи от невидимого сквозняка, и на долю удара сердца становится совсем тусклым, почти серым, прежде чем снова налиться силой.

Даромир смотрит на этот сбой не мигая.

Так было вчера у колодца, когда он проверял малый обряд перед выходом — тогда он списал это на усталость, на раннее утро, на то, что не выспался перед дорогой. Сейчас он выспался ровно так, как можно выспаться в первую ночь похода, то есть не выспался вовсе, но и усталость другая, не та, что валит с ног, а та, что копится неделями, и такая усталость никогда прежде не трогала свет в его руке. Он гасил и разжигал этот огонёк тысячи раз, ещё когда был мальчиш-кой-послушником и наставник заставлял держать его до рассвета в наказание за нерадивость, и рука тогда уставала, ныла, немела, но свет не запинаялся.

Он сжимает пальцы, свет гаснет, и Даромир сидит в темноте, слушая, как углей потрескивают тише, будто и они то-

же прислушиваются.

Объяснения нет. Это хуже, чем если бы объяснение было плохим: плохое объяснение можно нести, зная его вес, а пустота не имеет веса, зато занимает всё место.

Он поднимает взгляд от собственной руки к небу — привычка, идущая от того же наставника, который учил: если сомневаешься в силе своей, ищи знак не в себе, а над собой. Небо над лесной прогалиной сегодня чистое, без облака, звёзды густо просыпаны от края до края, как всегда бывает вдали от городских огней, где ни один фонарь на масляном свете или магическом камне не отбирает у неба его блеска. Даромир находит взглядом Северный Гвоздь, находит ковш Большой Медведицы, скользит взглядом дальше, туда, где должен быть пояс Стрибога — и натывается на то же самое, что видел позапрошлой ночью перед выходом из Хорсона.

Чёрная прогалина. Пятно без единой звезды, неровное по краю, будто кто-то вырезал ножом кусок ночи и не вставил его назад. Оно висит ровно там же, где и в прошлый раз, — на севере, чуть выше кромки леса, и не сдвинулось ни на палец, хотя все прочие созвездия за эти дни прошли свой обычный путь по небосводу, как им и положено. Звёзды кругом него горят так же ярко, как везде, обрамляя пустоту светлой рамкой, и от этого пятно кажется не отсутствием света, а чем-то, что свет в себя забирает.

Даромир смотрит на него долго, забыв про огонёк на ладони, про угли, про собственное дыхание.

Он вспоминает, чему учил наставник: не всякую тревогу нужно нести старшему сразу, потому что тревога, поданная без причины, обесценивает тревогу, поданную с причиной. Один раз — случайность, туча, оптический обман усталых глаз. Два раза — уже не совсем случайность, но мало ли что можно углядеть на бескрайнем небе человеку, который смотрит на него слишком часто и слишком напряжённо. Три раза — это узор, а узор нельзя таить, узор нужно нести к тому, кто разбирается в узорах лучше жреца, только вышедшего из-под руки наставника.

«Если увижу его ещё раз, — думает Даромир, — доложу отцу Всеславу, как вернёмся. Не раньше. Пока это только моя тревога, а тревогу свою я привык носить сам».

Он опускает взгляд с неба и снова находит в темноте очертания Милицы — её плечо, тёмный завиток волос, выбившийся из-под края плаща. Она дышит спокойно, и это спокойствие отчего-то трогает Даромира глубже, чем испугало бы её беспокойство: спящий человек доверяет тому, кто на страже, целиком, без остатка, не спрашивая, тверда ли у того рука.

Он вспоминает клятву, данную князю у колодца: беречь её, даже если для этого придётся отдать собственную жизнь. Слова были простые, произнесённые в темноте, без свидетелей, и оттого весившие тяжелее, чем если бы их произнесли перед всем двором. Он вспоминает, как звучал голос Милицы у костра час назад — ровный, будничный, без насмешки,

— и как она не спросила прямо, откуда он знает песню про полудницу так, будто сам видел её тень.

Даромир заставляет себя не идти дальше этой мысли. Жрецы Ярилы не заводят семей, это знает каждый послушник ещё до первого пострига, знает не как запрет, а как форму собственной жизни, вроде того, как рыба знает воду: не спорит с ней, просто в ней живёт. Плотские тяготения не грех, наставник сам говорил об этом без стеснения, но тяготение сердца, если оно рождается к одной женщине и не отпускает, — это уже другое, это путь, ведущий туда, куда жрецу хода нет.

Он сжимает раскрытую ладонь в кулак, гасит в памяти неровный отблеск света, который видел минуту назад, и напоминает себе то, что напоминал уже много раз за последний год: его долг — беречь её как жрец бережёт вверенную ему душу, а не как мужчина бережёт ту, что дорога ему одному.

Угли шевелятся, роняя невесомый пепел, и где-то в темноте леса вздрагивает сухая ветка под лапой какого-то зверя, слишком мелкого, чтобы тревожить караул.

Даромир поднимает воротник кожуха, устраивается спиной удобнее к стволу и снова поднимает взгляд к северу — пятно на месте, чёрное и безмолвное, как рана, которая не кровит, но и не заживает.

* * *

Дорога сужается к полудню — так, что телега уже не проходит вровень с всадниками, и Олег придерживает коня,

пропуская Милицу вперёд. Лес по сторонам густеет, ели сходятся кронами над головой, и там, где вчера ещё пробивался свет косыми полосами, сегодня стоит ровный зеленоватый сумрак, будто дорога уходит под воду.

Даромир едет вторым, чуть позади Милицы, и слушает лес так, как учил его отец Всеслав: не ушами, а всем телом, кожей, загривком. Вчера в этот час здесь был обычный дневной гомон — дятел долбил где-то сухостой, пересвистывались синицы, один раз даже прокричала иволга, и Олег тогда сказал, что похоже на бабий плач, и все посмеялись. Сегодня этого гомона нет. Лес не молчит совсем — под копытами хрустит валежник, поскрипывает седло, где-то далеко каркает ворона, — но пустота между этими звуками стала другой, плотной, будто в неё что-то вложили.

— Тут слишком тихо, — говорит Милица.

Она произносит это ровно, не оборачиваясь, глядя прямо перед собой на дорогу, и от того, как буднично звучат эти три слова, у Даромира по спине пробегает холод — сильнее, чем если бы она вскрикнула. Он и сам думал о том же уже с полчаса, крутил эту мысль так и этак, подбирал ей оправдание — час не тот, ветер переменился, птицы сели на прокорм, — но вслух не сказал, ждал, доберётся ли до этого кто-то другой. Милица добралась первой.

— Может, гроза собирается, — отзывается Олег без особой уверенности, разминая плечи в седле. — Перед грозой оно всегда так, у нас в Хорсоне то же самое: птица прячет-

ся, скотина ложится.

Он старается, чтобы голос вышел легко, и почти получается, только смех, который должен идти следом за шуткой, не приходит — ни у него самого, ни у остальных. Даромир смотрит на небо между кронами: оно чистое, без единого облака, солнце белое и высокое, никакой грозы там нет и не предвидится, и Олег это знает не хуже него.

Конь под Даромиром вдруг всхрапывает и мотает головой, и когда он проводит рукой по шее животного, чувствует, как та мелко дрожит — не от усталости, конь идёт от силы третий час. Он оглядывается на остальных: у Милицы кобыла прядёт ушами, поворачивая их то к одной стороне дороги, то к другой, будто ловит звук, которого люди не слышат, а конь Олега вовсе замедляет шаг, упирается, и богатырю приходится тронуть его пятками, чтобы не отстал.

— Не любят, — говорит Даромир вполголоса, больше себе, чем спутникам. — Кони чувят то, чего мы не чуем. Всегда первыми.

— Чувят что? — Олег поворачивается в седле, и лицо его, обычно широкое и добродушное, сейчас собрано в настороженную серьёзность, которую Даромир видел у него разве что перед боем.

Даромир не спешит с ответом. Он смотрит на подлесок по обе стороны дороги — там, где вчера мелькали заячьи следы и была видна свежая пороша земли, взрытая кабаном, сегодня ничего нет, ни следа, ни шевеления, только сплошной

подрост орешника, застывший, как декорация.

— Три года назад мы ходили под Липовку, — говорит он наконец. — Тоже нечисть завелась, не такая громкая, как полудница, но всё едино. Так вот за версту до деревни лес встретил нас так же — тихо, ни птицы, ни зверя. Наставник тогда сказал: там, где силы побольше, чем у шишиги какой-нибудь мелкой, зверьё уходит первым. Не потому что видит нечисть — она сама прячется до времени. А потому что чует то, чего мы своим человеческим нюхом не берём. Земля будто прокисает вокруг такого места, и всё живое, у кого чутьё острее нашего, снимается и уходит подальше, пока не поздно.

Милица молчит, но Даромир видит, как её рука лежит на рукояти меча — не сжимает, просто лежит, наготове, — и понимает, что она услышала не только слова, но и то, что за ними: полудница — не последняя гостья в этом лесу, если земля прокисла настолько, что птицы ушли за день пути до самой деревни.

— И что было под Липовкой? — спрашивает Олег, уже без прежней бодрости в голосе.

— Управились, — коротко отвечает Даромир. — Дорого встало.

Больше он не говорит, и Олег не переспрашивает — научился за годы службы отличать, когда жрец умолкает намеренно, оставляя за плечами то, что не для дороги, а Милица только чуть крепче стягивает поводья, и они едут дальше

в этой густеющей тишине, слушая одинокий стук копыт по укатанной колее.

Через версту дорога выводит их на прогалину, и там, у самой опушки, стоит пасека — десятка полтора колод, вкопанных в землю рядами, огороженных плетнём из ивовых прутьев. Даромир натягивает поводья, не давая себе повода объяснять почему, и остальные останавливаются следом, без слов.

Половина колод лежит на боку, вывернутая, будто кто-то прошёлся по ним широкой лапой, не разбирая пути. Восковые соты рассыпаны по вытоптанной траве, потемневшие, облепленные мёртвыми пчёлами — их так много, что земля под ногами кажется присыпанной серым инеем. Ни одна пчела не летает, хотя солнце стоит высоко и день тёплый, самый пчелиный день. У края плетня, там, где, видно, стояла хозяйская изба, — только обгорелый остов сруба, чёрные брёвна, вросшие в бурьян, и подле него, наполовину заваленный крапивой, забытый глиняный горшок для мёда.

Никто из троих не произносит ни слова. Олег смотрит на разор больше остальных, потом отводит взгляд и первым трогает коня, объезжая пасеку по краю, не приближаясь. Милица провожает взглядом перевернутые колоды и тоже молчит, только её плечи под тёплым, подшитым мехом плащом становятся чуть выше и прямее — так становится человек, когда решает не показывать, что ему сделалось не по себе.

Даромир едет последним. Проезжая мимо горшка в кра-

пиве, он замечает на его боку тонкую царапину, оставленную явно не пчелиной работой — след слишком ровный, слишком глубокий, как будто по обожжённой глине провели чем-то острым и холодным нарочно, оставляя знак. Он не останавливается разглядывать этот знак ближе. Впереди ещё день пути до Ветрени, и то, что он видит здесь, на пасеке, лучше приберечь для костра, для разговора при огне, а не для этой прогалины, где даже пчёлы уже не жужжат над мёртвым ульем.

* * *

Дорога сужается, и лес перед ними расступается наконец, отступая двумя рваными краями, будто кто-то развёл его руками. За прогалиной, на невысоком взгорке, стоит Ветрень.

Даромир видит крыши раньше, чем что-либо другое: соломенные, потемневшие от времени, скатанные в тугие валики по коньку, как везде на севере Хорсонского. Дюжины полторы дворов, обнесённых плетнём, амбар на столбах, колодезный ворот — обычная деревня, каких он проехал за годы службы без счёта. Но небо над ней чистое.

Ни одной печной струйки. Ни серой, ни белой — никакой. В этот час, на закате, когда солнце садится в дальний лес и золотит облака над крышами, в каждой избе на юге уже топят под ужин, и дым должен стоять над деревней плотным сизым куполом. Здесь его нет вовсе, как будто печи стынут не первый день.

И собак не слышно. Даромир останавливает коня и слу-

шает нарочно, отсекая стук копыт, скрип седла, дыхание — ловит одну только пустоту. В любой деревне на закате брешет хоть одна дворовая шавка, отзываясь на чужой шаг за версту. В Ветрени тихо так, что слышен звон в собственных ушах.

— Даромир, — тихо говорит Милица за его плечом, и в её голосе уже нет прежней ровности, — дыма нет.

— Вижу, — отвечает он.

Он смотрит на солнце, тяжело сажающееся за верхушки сосен, потом снова на деревню. Обереги, положенные утром, должны продержаться ещё день с лишком, это он проверял на ходу, ловил в горсти слабое тёплое гудение оставшейся силы. Войти можно и сейчас, пока не стемнело окончательно, и через полчаса они будут у первого плетня.

Но он не трогает поводья.

— Заночуем здесь, — говорит он. — В деревню входим на свету.

Олег хмурится в седле, поворачивается к нему всем телом.

— До темноты ещё есть час. Дойдём, осмотримся хоть, где что.

— В темноте нечисть сильнее той же силы, что и днём при свете, — отвечает Даромир, и в этом нет ничего, чего Олег бы не знал сам, просто устал за два дня дороги и хочет уже крыши над головой, хоть бы и мёртвой деревни. — Обереги держат. Переночуем на опушке, войдём с рассветом, глаза-

ми целыми. Полудница любит темноту, а не свет — вот ей темноту и не отдадим.

Олег молчит недолго, потом кивает, соглашаясь без спора: слишком долго ходит в этом отряде, чтобы спорить с Даромиром там, где дело касается обряда.

Они съезжают с колеи, туда, где лес отступает мягким полукругом, оставляя за спиной ещё немного тени, а впереди — открытый вид на деревню и поле перед ней, поросшее рожью в человеческий рост, не убранное, хотя пора бы. Даромир спускается с коня первым, разминает плечи, затёкшие от долгого пути, и идёт расседлывать.

Милица не идёт за ним. Она стоит у самого края прогалины, глядя не на крыши, а мимо них, туда, где поле сходится с околицей, и по этому неровному, слишком долгому взгляду Даромир понимает раньше, чем она произносит хоть слово, что она что-то увидела.

— Что там? — спрашивает он, оставляя седло на попечение седельной сумки.

Милица не отвечает сразу. Она стоит совсем прямо, руки опущены, но пальцы правой уже нашли рукоять меча и держат её без нажима, просто рядом, готовые.

— Мне показалось, — говорит она наконец, и голос у неё звучит непривычно тихо для человека, привыкшего командовать голосом, а не слушать, — что в ржи что-то белое. Вон там, у края.

Даромир смотрит туда, куда указывает её взгляд. Рожь

стоит неподвижно, тяжёлые метёлки клонятся к земле, но ветра нет совсем, ни малейшего дыхания, а между тем в глубине поля, ему кажется на миг, что-то мелькнуло — не колос, не тень облака, а что-то более плотное, более белое, чем позволяет вечерний свет.

Оно не движется больше. Он ждёт, вглядываясь, пока глаза не начинают слезиться от усилия различить в сумерках то, чего, может, там и не было.

— Где именно? — спрашивает он, не отводя взгляда от поля.

— Там, у второй межи, — Милица кивает подбородком, не поднимая руки. — Оно стояло. Потом пропало.

Позади них с сухим скрипом кожаных ножен Олег вытаскивает меч на треть — привычный жест руки, тянущейся к оружию раньше, чем разум успевает решить, нужно ли оно, — и застывает так, глядя туда же, куда смотрят они оба.

Проходит долгий отсчёт дыхания. Рожь стоит так же неподвижно, вечернее солнце красит верхушки метёлок медным светом, и больше ничего белого в этом поле не появляется, сколько Даромир ни всматривается.

— Может, показалось, — говорит наконец Олег, но меч не убирает, только опускает клинок острием вниз, держа наготове.

— Может, — соглашается Даромир, хотя в это верится плохо: за годы службы он давно вывел для себя правило, что вещи, показавшиеся сразу двум людям в разных концах от-

рядя, чаще всего вовсе не кажутся.

Он не идёт проверять. Не сейчас, не в сумерках, не без готового обряда за спиной — это было бы глупостью, которую полудница простила бы им ровно один раз. Вместо того он поворачивается к своей сумке, достаёт из неё последний на сегодня оберег — небольшой узел из красной нити, увязанной с сухой веткой ясеня и обугленным зерном, — и идёт к самой границе прогалины, туда, где трава редет и начинается неровный склон к полю.

Он вгоняет заострённый конец ветки в землю, произносит короткие слова над узлом, и на миг под ладонями чувствует лёгкое сухое тепло, как от нагретого солнцем камня, — сила отзывается, хотя и слабее, чем должна бы, и он старается не думать об этом сейчас, оставляя тревогу на потом. Оберег держится, воткнутый в землю, слабо покачиваясь без ветра.

Он выпрямляется и только теперь по-настоящему замечает, насколько густа стала тишина вокруг них. За весь день дорога звучала хоть чем-то: скрипом седла, стуком копыт, редким переговором птиц в вершинах. Здесь, на границе прогалины и поля, не слышно ничего вовсе. Ни цикады, ни шороха мыши в стерне, ни хотя бы дальнего лягушачьего хора с ручья, который непременно должен быть где-то за деревней. Тишина стоит плотная, как вода в запёртом колодце, и в неё не пробивается ни один живой звук.

Они разводят костёр, потому что без огня в такую ночь никто из троих не сможет уснуть, и садятся вокруг него тес-

ным треугольником, лицом к темноте, спиной друг к другу. Пламя трещит, отгоняя мрак на длину протянутой руки, и в этом узком круге света трое сидят молча, вслушиваясь в ночь так, как слушают враждебного зверя за пологом шатра.

Ночь не отвечает. Ни лаем, ни птичьим криком, ни скрипом дерева, ни голосом человека — ничем, что подтвердило бы, что за краем костра ещё существует живой мир. Только чёрное поле ржи, беззвучное поселение на взгорке и звёзды, высыпавшие над крышами Ветрени так ярко, будто там, внизу, никогда и не топили печей.

Глава 4. Тень над деревней

Ветрень встречает их плетнём, повалившимся набок, будто кто-то навалился на него всей тяжестью и не потрудился поднять. Милица едет первой, конь ступает медленно, прижав уши, и она не гонит его: пусть сам чует то, чего пока не видит она.

Улица пуста. Средь бела дня, в разгар страды, когда даже старухи должны быть в поле с серпом или у печи с квашнёй, — ставни на избах заколочены, будто к зиме готовились второпях. На одном крыльце брошено недоплетённое лапти, рядом валяется веретено без нитки. Кто-то ушёл отсюда посреди дела и не вернулся его закончить.

— Не по-людски это, — говорит Олег тихо, и голос его в этой тишине звучит слишком громко, будто он крикнул через всю деревню.

У колодца — толпа. Не толпа, поправляет себя Милица, подъезжая ближе: три бабы, сбившиеся в кучу, как овцы перед волком, и между ними, раздутая на солнце, лежит корова. Брюхо у неё вздулось бочкой, ноги торчат кверху, неестественно прямые, а мухи выются над ней таким плотным облаком, что издали кажется, будто над тушей стоит сизый дым. Одна из женщин отгоняет их веткой, вяло, без надежды на успех, другая шепчет что-то, зажав рот платком, третья просто смотрит в землю.

Милица останавливает коня в нескольких шагах.

— Здрaвы будьте, — говорит она, и голос выходит спокойнее, чем чувствует она себя внутри. — Что с корову случилось?

Бабы вздрагивают все три разом, будто она их застигла за грехом, и та, что шептала, отступает за спину остальных.

— Пала она, — говорит наконец женщина с веткой, не поднимая глаз. — Утром ещё жевала, к обедне — уже вон.

— От чего пала?

— А кто ж скажет, — она пожимает плечами, но плечи у неё дёргаются нервно, будто она хочет и не может сказать больше. — Само так.

Само так. Милица слышала это «само так» уже трижды за последний час — от хозяина постоянного двора, от женщины на дороге, что торопливо загоняла гусей в сарай при виде их отряда, и теперь здесь, у колодца. Слово, которым затыкают рот страху, чтобы он не выплеснулся раньше времени.

Она проезжает дальше вдоль улицы, считая дворы не вслух, а про себя, привычкой, оставшейся с тех лет, когда отец учил её оценивать войско по кострам в темноте: раз, два, три — из трубы дым, здесь дым, а вот здесь — нет. Она насчитывает семь дворов подряд без единого дымка, хотя полдень давно миновал и по всем законам страды печи должны топиться под обед для тех, кто вернётся с поля голодным и уставшим. Люди не прячутся так средь бела дня без веской на то причины. Люди прячутся, когда причина эта уже при-

ходила к ним однажды и они боятся, что придёт снова.

— Больше, чем должно быть заперто, — говорит она вполголоса, не оборачиваясь, зная, что Даромир и Олег едут за ней достаточно близко, чтобы услышать.

— Я считал так же, — отзывается Даромир, и в голосе его — та же сухая настороженность, что была у него всю дорогу от постоянного двора, где не оказалось оберега над дверью.

Олег подъезжает ближе, натягивая поводья так, что конь под ним фыркает недовольно.

— А псов слышала? — спрашивает он, не глядя на неё, глазами обшаривая дворы. — Мы третий двор минуем, а хоть бы одна шавка на чужих голос подала.

Милица прислушивается — и понимает, что за всё время, что они едут по улице, ни разу не залаяла собака. В любой деревне, куда бы она ни приезжала прежде, псы всегда первыми встречают чужаков, срываясь с цепи или выбегая из подворотни с хриплым рыком. Здесь — тишина, такая же плотная, как та, что стояла над рожью накануне ночью, будто кто-то одним движением руки согнал со двора весь голос, всю жизнь, оставив только пустые стены и запертые ставни.

— Как у леса, — говорит она, и это не вопрос.

— Как у леса, — соглашается Олег.

Она смотрит на Даромира. Он не отвечает, и это молчание говорит больше, чем сказало бы любое слово: он уже думал об этом, уже свёл вместе тишину леса и тишину деревни, и не спешит облегчать себе душу вслух.

Взгляд его при этом не на дворах — он смотрит выше, туда, где за крышами избы виднеется край поля, рожь стоит стеной, тяжёлая, немая, и над ней тонкой дрожащей полосой плывёт полуденное марево. Милица следит за его взглядом, но не видит ничего, кроме зноя, играющего над колосьями, — того самого зноя, что вчера обманул её собственные глаза белым пятном, растаявшим прежде, чем она успела моргнуть второй раз. Даромир смотрит долго, до неприличия долго для человека, который просто оглядывает окрестности, и не произносит ни слова, хотя по тому, как сжимается его челюсть, ясно: то, что он видит — или не видит, — ему не нравится.

Из ближайшей избы, той, что покрепче других и с резным петухом на князьке крыши, отворяется дверь, и на крыльцо, сгибаясь под низкой притолокой, выходит старик. Он сутулится сильнее, чем позволяет его возраст, будто на плечи ему навалили невидимый мешок с зерном, и вытирает руки о полотняную рубаху долго, тщательнее, чем того требует чистота ладоней, — так тянут время люди, которым нужно унять внутреннюю дрожь прежде, чем открыть рот.

— Гости, значит, — говорит он, и в голосе его нет ни радушия, ни удивления, только усталость человека, который давно перестал верить, что кто-то приедет вовремя.

Милица спрыгивает с коня, разминая ноги после долгой дороги, и идёт к крыльцу первой, оставляя Олега придерживать поводья всех троих коней.

— Мы из Хорсона, — говорит она. — Гонец ваш до князя добрался. Я — Милица, дочь его. Со мной жрец Ярилы и богатырь. Нам сказали, у вас беда.

Старик смотрит на неё снизу вверх, потом на Даромира за её плечом, дольше и внимательнее, чем на неё самое, будто в жреце видит больше надежды, чем в княжеской дочери с мечом на поясе. Руки его, наконец переставшие теревить рубаху, безвольно опускаются вдоль тела.

— Беда, — повторяет он тихо, как пробуя слово на вкус, и не спешит говорить дальше.

* * *

Старик всё смотрит на Даромира, и Милица делает шаг ближе, чтобы вернуть его взгляд себе.

— Дедушка, — говорит она, и голос выходит тверже, чем ей самой хотелось, — я послана волей своего отца, князя Хорсонского. Не за тем ехала три дня, чтобы слушать одно слово да вздохи. Говори толком: что у вас деется, с чего началось и когда. Без охов, без утайки.

Старик переводит взгляд на неё, будто впервые заметил, что перед ним не просто девка с мечом, а та, кого называть надобно по титулу. Кланяется коротко, неловко, спина не разгибается до конца.

— Прости, боярыня... княжна. Не с того начал.

Он замолкает, снова принимается тереть ладони, хотя они давно сухие.

— Скотина мрёт, — говорит наконец. — Третий день уж.

Без раны, без крови, без хвори видимой. Наутро выйдешь в хлев — а корова лежит, глаза открыты, язык вывалившись, будто во сне душили. Овцы так же. У Прохора всю животину извёл — три овцы за одну ночь.

— Мор какой-нибудь? — спрашивает Милица. — Или по-трава — не ели чего плохого?

— Кабы мор, боярыня, так по ряду шёл бы, с кашлем, с пеной. А тут — здоровая скажешь, вечером ещё жвачку жевала, а утром колодой лежит. Наш знахарь — да что он, из горшков ворожит, — говорит, нутро у них целое, как есть. Только сердце будто остановили. Рукой.

Он произносит последнее слово тихо, почти шёпотом, и косится на поле за крышами, как если бы боялся, что оно услышит.

— Что ещё, — говорит Милица, не давая ему опустить взгляд обратно на свои руки. — Скотина — не всё, я вижу по твоему лицу.

Старик медлит. Взгляд его снова скользит к Даромиру, и в этот раз в нём мольба — как если бы жрец мог принять на себя часть того, что старику придётся выговорить вслух.

— Детвора наша, — говорит он нехотя, — после полудня на межу бегала, за васильками. Прибежали обратно белые, что мел, и говорят — видели баба на полосе стоит, вся в белом, будто в саван обёрнута, и на них смотрит. Стоит и смотрит, не шевелится. А как побежали к ней ближе, из любопытства, — так и нету её, пропала, будто и не было.

— Когда это было?

— Позавчера. И вчера тож. Обещал я им дома сидеть, да что дитё удержит...

Он умолкает, и по тому, как сжимаются его пальцы, Милица понимает — это ещё не всё, и худшее он оставил напоследок.

— Говори до конца, — велит она.

Старик поднимает лицо, и в глазах у него влага, которую он не даёт себе пролить.

— Аким у нас пропал. Третьего дня, с самой жатвы не вернулся. Пошёл серпом жать в дальний загон, к обеду не пришёл, мы думали — притомился, у соседей заночевал. А вечером — нет его. Искали всей деревней до темна, с собаками, с лучинами. Ни его, ни серпа. Ничего не нашли, боярыня. Ни следа кровавого, ни клока одежды. Будто взяли его с земли — и с концами.

Тишина повисает между ними, тяжёлая, как перед грозой. Милица чувствует, как холодеет что-то внутри — не страх, скорее узнавание худшего из возможных ответов.

— А на поле, — говорит она, подступая ближе, — прежде чем Аким пропал, не было ли чего? Ты не хмурься, дед, вспоминай. Может, знак какой, может, чужой кто проходил, может, скотина по-иному себя вела.

Староста отводит глаза, и это движение говорит больше, чем любые слова, — так отводят взгляд не от неведения, а от того, что знают, да боятся сказать.

— Не приметил я, — бормочет он. — Хозяйство большое, за всем не углядишь...

— Не ври мне, — говорит Милица тихо, и в голосе её появляется сталь, та самая, которой она разговаривает с непослушными оруженосцами. — Ты второй раз глаза отводишь. Что было на поле?

Даромир, стоявший до этого молча за её плечом, делает шаг вперёд, и голос его прорезает воздух резче, чем ожидала Милица:

— Пасека у околицы. Кто её жёт?

Старик бледнеет так стремительно, что Милица невольно тянется, готовая подхватить его, если он покачнётся. Он не отвечает сразу, только хватает ртом воздух, будто вопрос выбил его из груди.

— То... то давнее дело, — выговаривает он наконец, и голос дрожит уже без всякого притворства. — Не про то теперь, боярыня, жрец... не время.

— А про что время? — спрашивает Милица.

Старик хватается за дверной косяк, будто ища опору.

— Прошу вас, — говорит он, и в этой просьбе слышится настоящий, неприкрытый ужас, — не ходите в поле до заката солнца. Что хотите со мной делайте, хоть плетью бейте, а туда — не ходите. Дотемна погодите, богом заклинаю, Родом-батюшкой заклинаю, не ходите.

* * *

Слова старика ещё звенят в ушах, когда Милица выходит

со двора, и Даромир идёт следом, не спрашивая, куда — они оба знают, куда.

Солнце ещё высоко, до заката далеко, и это её собственный выбор — не Даромира, не старосты. Она не из тех, кто ждёт темноты, чтобы бояться того, что можно рассмотреть при свете.

Межа встречает их шелестом — рожь стоит стеной, тяжёлая, налитая колосом, ничем не тронутая до самого края поля. Только у кромки, там, где начинается дальний загон, стебли примяты странным полукругом, будто кто-то обвёл циркулем невидимую черту и заставил колосья лечь по ней покорно, все в одну сторону, все острые кончики к центру.

Милица останавливается, и что-то в груди у неё сжимается прежде, чем разум успевает понять, отчего.

Она узнаёт это место. Позавчера, когда они подходили к деревне, здесь, в этой самой полосе ржи, мелькнуло что-то белое и тут же пропало, и она тогда не сказала ни слова, решив, что показалось, что усталость с дороги играет с глазами. Теперь земля внутри примятого круга черна, как после огня, но не пахнет гарью, не пахнет вообще ничем — ни дымом, ни землёй, ни зерном. Только пустотой, если пустота может пахнуть.

— Здесь, — говорит Милица тихо, будто громкий голос может разбудить то, что спит под этой чернотой. — Я видела здесь белое. По дороге. Мелькнуло и пропало, я думала — просто рубаха на ветру.

Даромир не отвечает сразу. Он подходит к краю выжженного круга и опускается на одно колено, аккуратно, как перед алтарём, и его пальцы касаются примятых стеблей, не земли — самих колосьев, там, где они лежат друг на друге, переплетённые не ветром.

— Не рубаха, — говорит он наконец.

Милица подходит ближе и видит то, что видит он: между стеблями, туго вплетённые в самое основание примятого круга, лежат пучки полыни, перевязанные красной нитью. Не оброненные, не занесённые ветром — уложенные с умыслом, узел к узлу, будто кто-то шёл вдоль края поля и вплетал их в рожь одну за другой, читая при этом что-то себе под нос.

Даромир поднимает один пучок, разглядывает нить, и лицо его становится тем самым — собранным, отстранённым лицом жреца, за которым Милица давно научилась видеть тревогу глубже, чем позволяет показать выучка.

— Полынь от сглаза сажают, но не так, — говорит он. — Так плетут, когда зовут, а не когда гонят. — Он поднимается, отряхивая землю с колена, и глядит на выжженный круг сверху, будто хочет увидеть его целиком, единым знаком. — Такое само по себе не приходит, Милица. Духи не спускаются на пустое поле без причины. Их сюда звали.

Слова падают в тишину поля, и Милица чувствует, как холодеет то же самое место в груди, что и минуту назад.

— Кто? — спрашивает она. — Кто в своём уме станет звать полудницу на собственную жатву?

Даромир не отвечает. Он смотрит уже не на нить и не на полынь, а куда-то в сторону, туда, где примятая рожь чуть светлее, чем остальная, и Милица, следуя его взгляду, замечает камень — небольшой, белёсый, гладкий, будто обкатанный водой, лежащий среди стеблей так, словно его положили специально, а не обронили. Ничего особенного в нём нет на первый взгляд: просёлочный голыш, каких по всему берегу реки не сосчитать. Но Даромир замирает над ним дольше, чем нужно для простого взгляда, и в его лице на короткий миг проступает что-то, чего Милица не видела у него прежде: не страх, не удивление, а узнавание, тяжёлое и мгновенное, как будто он встретил на дороге лицо, которое знал давно и не думал встретить здесь.

Он тут же отводит глаза, наклоняется, поднимает камень пустой рукой и убирает его в поясной кошель, не глядя больше на Милицу, будто дело обычное, будто камни на полях так и подбирают каждый день.

— Даромир, — говорит она, и в голосе её больше не сталь, которой она разговаривала со старостой, а что-то более тихое, требующее прямого ответа. — Что ты увидел?

— Ничего, — отвечает он, не поворачиваясь, и продолжает завязывать кошель, слишком тщательно для человека, у которого действительно ничего в руках нет.

— Ты замер на месте, — говорит она. — Я знаю тебя не первый год, жрец. Так ты не смотришь на пустой камень.

Он выпрямляется, и на этот раз смотрит ей в глаза, но

взгляд его — тот самый, что она уже видела у костра, когда он не допел песню о полуднице, будто слово застыло в горле и не желает выходить.

— Мне показалось, что я его уже видел, — говорит он наконец. — Где-то. Не здесь.

— Где?

— Не помню, — говорит он, и это звучит как правда, но не вся правда, и от того тревожит сильнее, чем если бы он солгал открыто. — Может, во сне. Может, и вовсе не видел, глаза устали с дороги.

Милица молчит, глядя на него, и рожь вокруг них шелестит так тихо, будто и ветер боится дышать громче над этим местом. Она хочет спросить ещё раз, надавить так, как надала на старосту, но что-то в лице Даромира — не упрямство, а усталая, застарелая осторожность — говорит ей, что сейчас надавить — значит потерять больше, чем узнать.

— Хорошо, — говорит она наконец, хотя это далеко не хорошо, и оба они это знают. — Но если вспомнишь — я первая, кому скажешь. Не Всеслав. Я.

Даромир кивает, коротко, и в этом кивке ей чудится обещание, данное с трудом, будто он и сам не уверен, что сможет его сдержать. Она смотрит на выжженный круг ещё раз, на нити, на полынь, на след того, что здесь недавно стояло, а после исчезло, и думает о том, что старик заклинал их не ходить сюда до заката, а солнце всё ещё высоко, и то, что они нашли при свете, страшнее любой темноты, что могла

бы прийти вечером.

* * *

Голос Олега летит через двор раньше, чем она успевает дойти до колодца.

— Милица! Сюда!

Он стоит у крайней избы, той, что жмётся к самому лесу, будто хозяева нарочно строили дальше от остальных дворов. Лицо у него не то, каким было полчаса назад, когда он шутил про овёс для лошадей и хвалил колодезную воду — тогда он ещё позволял себе смеяться. Теперь брови сведены, а в руке — свёрток из грязной холстины, который он держит на отлёте, как держат находку, которую и бросить хочется, и боязно.

— Искал, где лошадей напоить, — говорит он, когда она подходит. — Полез под навес, там кадка стояла. А эта кадка на лежанке в углу, наполовину пустая, и под ней вот это.

Милица берёт свёрток осторожно, не разворачивая до конца, только откидывает край ткани. Внутри — оберег, вырезанный из липового дерева, невеликий, в ладонь, но резьба на нём густая, путаная, будто мастер спешил и всё же старался вложить каждую линию правильно. Знак в середине ей незнаком: не солнечный круг, не громовик, не что-то из того, что она видела на воротах и наличниках всю свою жизнь. Углы у него острые, вывернутые, как будто чертивший знал древний рисунок наизусть и намеренно исказил.

Оберег обмотан нитью. Красной. Той самой, что она видела на меже полчаса назад, натянутой между колышками,

там, где выжженный круг и следы того, что стояло и исчезло.

— Та же нить, — говорит она тихо, скорее себе, чем Олегу.

— Я тоже заметил, — отвечает он. — Оттого и позвал, а не сунул в мешок и не понёс тебе показывать после ужина.

Она вспоминает слова Даромира на поле, сказанные тогда не ей — почти самому себе, когда он поднимал пустой камень пустой рукой: не трогать руками то, что причастно обряду, пока не разберёшься, что за силу оно держит. Милица разворачивает край холстины пошире, укладывает оберег обратно, не касаясь дерева пальцами, и стягивает узел так, чтобы вещь была завёрнута плотно, без зазора.

— Не трогай его больше без нужды, — говорит она. — Даромир говорил про такие вещи. Обрядовое дерево держит силу дольше, чем кажется, и не всегда ту, что нам на пользу.

Олег хмыкает, но кивает, и по этому короткому кивку она видит, что он и сам рад не держать находку в руках дольше положенного.

— Чей это двор? — спрашивает она.

— Вдовы. Пелагеи, кажется, так её кличут соседи, я у мальчишки спрашивал по дороге сюда. — Он оглядывается на избу, тесную, с крышей, залатанной новой соломой вперемешку со старой, потемневшей от дождей. — Я весь двор обошёл, покуда воду искал. Она сидела вон там, за поленницей, у самого забора. Не вышла даже когда у колодца шум поднялся, когда староста на тебя голос повысил и все сбежа-

лись смотреть.

Милица оборачивается туда, куда он показывает: узкая полоса тени между поленницей и плетнём, место, откуда весь двор виден, а сам сидящий там — почти не виден никому. Такое место выбирают не по случайности. Такое место выбирают, когда хотят видеть, что происходит, но не хотят, чтобы видели тебя.

— Она пряталась, — говорит Милица не вопросом, а утверждением.

— Похоже на то. — Олег понижает голос, хотя двор пуст, и только куры роются у крыльца, не замечая ни людей, ни того, что лежит в холстине у Милицы в руках. — Весь день так, я так понял. Соседка одна обронила, мол, Пелагея с самой жатвы за ворота не выходит, воды сама не носит, просит мальчишку принести. С той поры, как мужик пропал.

Милица молчит, взвешивая свёрток на ладони, хотя дерево лёгкое, легче, чем должно бы быть после того, что она увидела на поле — тот выжженный круг, полынь, нити, натянутые между колышками, как чья-то сеть, расставленная заранее и с умыслом. Кто-то в этой деревне не просто боится нечисти. Кто-то её звал. И если оберег с чужим, вывернутым знаком лежал под лежанкой у вдовы, которая весь день прятала себя за поленницей от людских глаз, то либо она знает больше, чем говорит старосте, либо боится того, что знает, сильнее, чем боится самой полудницы.

— Пойдём, — говорит Милица, пряча свёрток за пояс,

туда, где его не заденет случайный взгляд. — Пусть Пелагея расскажет нам, что у неё под лежанкой делает такая вещь и почему она весь день не отходит от поленницы дальше, чем на три шага.

Олег кивает и первым идёт к плетню, широкими шагами, уже без той нарочитой лёгкости, с которой он вошёл в этот двор четверть часа назад. Милица идёт за ним, чувствуя сквозь холстину и пояс тяжесть находки — небольшую, деревянную, но беспокойную, как будто вещь эта помнит руки, которые её резали, и намерение, с которым её прятали от чужих глаз под лежанкой в самом дальнем углу избы.

Деревня за спиной всё так же тиха, ни лая, ни дыма, только куры кудахчут у чужого крыльца, и где-то за огородами, у самой межи, ветер треплет красную нить, протянутую между колышками, как знак, оставленный не для духов, а для тех, кто умеет читать такие знаки.

* * *

Пелагея встаёт с лежанки навстречу им, и в этом движении есть что-то от человека, который знал, что за ним придут, и всё же надеялся, что не сегодня. Она невысокая, тонкая, как ивовый прут, с лицом, изрезанным не столько годами, сколько тем, что называют вдовьей костью — острым подбородком, впавшими щеками. Взгляд её мечется между Милицей и свёртком у неё за поясом, и в этом мечущемся взгляде уже есть ответ, хотя Милица пока молчит.

— Это матушкино, — говорит Пелагея быстро, слишком

быстро для правды. — Дедов ещё оберег. От сглаза берегли, у нас в роду так заведено, ничего худого в нём нет.

Она тянет руку, будто хочет забрать свёрток обратно, но Милица не отдаёт, разворачивает холстину медленно, так, чтобы вдова видела каждое движение и понимала: прятать больше нечего.

— Знак на нём вывернутый, Пелагея, — говорит Милица негромко, но твёрдо, глядя ей прямо в лицо. — Такого от сглаза не берегут. Такой знак к себе кличет, не от себя гонит. И лежал он у тебя не на божнице, где деду место, а под лежанкой, в углу, куда чужой глаз не заглянет.

Пелагея молчит, кусает губу, отступает на шаг, будто в избе есть куда отступить, а не три шага до печи.

— У тебя корова третьего дня пала без причины, — продолжает Милица, и голос её не повышается, наоборот, становится тише, оттого весомей. — У Марфы — две овцы. Аким с поля не вернулся, и уже вторые сутки его ищут по всей округе, а не находят даже следа. И знахарка тебе не оберег от сглаза дала, я так думаю. Она дала тебе способ что-то узнать. Или кого-то дозваться.

Женщина вздрагивает всем телом, будто ударили, и опускается обратно на лежанку, зажимает ладони между колен так, что костяшки белеют.

— Не выдавай меня старосте, — шепчет она, и в этом шёпоте больше страха, чем во всём, что было сказано до того о полуднице, о мёртвой скотине, о пропавшем Акиме. — Он

созовёт сход, а на сходе меня со двора стонят, а то и хуже. Люди у нас не простят такого, не простят никогда, хоть бы я и не хотела зла никому.

— Расскажи, что было, — говорит Милица, садится напротив на лавку, так, чтобы глаза были на одном уровне, не сверху, не с высоты обвинения. — Расскажи мне, а не старосте. Обещаю.

Пелагея долго молчит, глядя в пол, где вытоптанная земляная плаха темнее у порога, светлее у печи, и наконец говорит, и голос её срывается почти на каждом слове.

— Муж мой, Зотей, три года как на север уходил с обозом, за солью да за железом, и не вернулся. Ни весточки, ни слуха. Люди говорили — сгинул, погиб где-то там, в тех землях, где холод такой, что кости ломает. А я не верила. Не могла поверить, вот и весь грех мой.

Она поднимает взгляд, и в нём столько усталой муки, что Милице становится не по себе от собственной роли судьи в этой избе.

— Пошла я к знахарке, к бабе Аграфене, что за Ветренью в лесу живёт, у Чёрного ручья. Просила её дать способ узнать, жив ли Зотей мой, али нет, чтоб хоть знать, а не гадать по ночам. Она дала мне этот оберег и слова научила сказать в поле, в самый полдень, когда солнце в зените стоит и тени короче всего. Сказала — если он жив, знак покажет. Если нет — покажет иначе.

— И ты сказала слова, — произносит Милица, и это уже

не вопрос, это подтверждение того, что она видела на поле, — выжженный круг, полынь, нити между колышками, натянутые, как чья-то сеть.

— Сказала, — шепчет Пелагея, и слёзы наконец текут по её лицу, беззвучно, будто она давно перестала стыдиться собственного плача. — Три дня как сказала. А на четвёртый корова пала. А на пятый Аким не вернулся с жатвы. Я поняла, поняла тогда же, что не то позвала, не то сделала, но было поздно уже, поздно было что-то исправить.

Милица молчит, глядя на женщину перед собой, и в груди у неё сходится тяжёлым узлом то, что она поняла ещё на поле, у выжженного круга: тоска по мужу, обычная, человеческая, безобидная на первый взгляд, обернулась приманкой для того, что теперь ходит по ржи в самый полдень и берёт себе людей, как плату за чужую надежду. Не злой умысел искал полудницу в эти края. Искала её женщина, потерявшая надежду, и получила не ответ, а зло, севшее на этот ответ, как муха на мёд.

— Ты не первая, кто ищет весть о пропавших таким путём, — говорит Милица наконец, и в голосе её нет прежней твёрдости следователя, только усталая горечь понимания. — Но обряд твой был не пустой. Он приманил её. Не по злобе твоей, по горю твоему, а всё равно приманил.

Пелагея всхлипывает, закрывает лицо ладонями, и Милица не торопит её, ждёт, пока плечи вдовы перестанут дрожать.

— Скажи мне про знахарку, — говорит она затем, тихо, но настойчиво. — Откуда она в ваших краях, давно ли живёт у Чёрного ручья, и где она теперь.

— Не знаю, откуда она родом, — отвечает Пелагея, вытирая лицо рукавом, — она у нас уже с покоса прошлого жила, тихо жила, никому не мешала, люди к ней за травами ходили, за отворотами да приворотами по мелочи. А на другой день после того, как я слова сказала в поле, она из хаты своей ушла. Совсем ушла, будто знала наперёд, что случится. Мальчишки бегали к ручью, изба пустая стоит, дверь настежь, ни горшка, ни утвари не осталось.

Милица кивает медленно, и в этом кивке уже нет вопроса, только тяжесть новой мысли, которая ложится рядом с прочими, найденными за этот день: разорённая пасека, оберег с вывернутым знаком, знахарка, ушедшая накануне беды, словно расплата была ей известна заранее.

— Я не выдам тебя старосте, — говорит она, вставая, и голос её звучит устало, но твёрдо, как клятва, данная не по долгу, а по совести. — Слово моё крепко. Но обряд свой, слова эти, больше никому не говори и никогда не повторяй. Слышишь меня?

Пелагея кивает, прижимая ладонь ко рту, и Милица оставляет её так, сидящей на лежанке в полумраке избы, где над печью так и не висит ни один оберег, кроме того единственного, что теперь лежит в холстине за поясом Милицы, свидетельством людской тоски, обернувшейся чужой бедой.

Костёр на постое горит низко, дрова здесь сырые, дают больше дыма, чем жара, и от этого щиплет глаза. Хозяин двора не вышел проводить их к огню, только выставил горшок каши да кринку молока и скрылся за перегородкой, будто боится слушать, о чём говорят в его сенях золотые люди князя. Милица кладёт холстину на колено и разворачивает её медленно, чтобы оба видели.

— Вот что нашёл Олег в доме Пелагеи, — говорит она, и оберег тускло блестит в свете углей, костяной круг с вывернутым узором, будто вырезан не той рукой, которой положено. — А вот что рассказала сама Пелагея. Она звала мужа обратно с покоса словом, которое дала ей знахарка с Чёрного ручья. Знахарка ушла из своей избы на другой день, как ветром сдуло, ни горшка не осталось.

Олег присвистывает сквозь зубы, но тихо, без обычной своей ухмылки.

— И знахарка эта, значит, знала, что натворила, — говорит он. — Раз сбежала, не дожидаясь расплаты.

Даромир сидит напротив, локти на коленях, и смотрит в огонь так, будто там, в углях, можно разглядеть больше, чем в словах вдовы.

— Обряд был неумелый, — произносит он наконец. — Такой вязью оберег не делают, если знают дело. Но неумелость не значит бессилие. Она открыла дверь, а за дверью давно стояло то, что ждало повода. Полудница не приходит

из ничего в чистое поле. Она либо живёт в этих местах истари, либо приманена. Здесь, думаю, и то и другое разом: жила тихо, притаившись, а слово Пелагеи дало ей повод выйти на межу и брать.

Милица кивает, хотя внутри у неё эта мысль оседает тяжелее, чем должна бы. Она ждала злого умысла, ведьмы, порчи — а нашла человеческое горе, обёрнутое бедой для целой деревни.

— Стало быть, деревня сама себе беду вырастила, — говорит Олег, и в голосе его нет насмешки, только глухая горечь. — Тосковала баба по мужу, косой махала над рожью, слова шептала, а выкормила себе полудницу, как телёнка на убой. И теперь вся деревня платит за одну вдовью слезу.

— Не одна она платит, — отвечает Милица резче, чем хотела. — Пелагея тоже платит. Она теперь до смерти будет знать, что муж её пропал не сам, а через её же слово. Хватит с неё этого клейма, старосте я её не выдам.

Олег не спорит, только отворачивается, подбрасывает в костёр сухую щепку, и та занимается быстро, весело, совсем не в лад с разговором.

Милица переводит взгляд на Даромира. Весь день в ней копилось то, о чём она не спрашивала прямо, боясь напугать словами то, что и без слов повисло над отрядом, как чёрная прогалина над северным небом. Но теперь, у костра, где сказано уже достаточно правды, чтобы не бояться ещё одной, она спрашивает:

— Ты не дошел песню про полудницу у костра, тогда, перед деревней. И на меже сегодня стоял дольше, чем нужно было для одного взгляда. Что ты увидел, Даромир? Говори прямо, не жалея меня.

Он молчит немного дольше, чем ей нравится, и это молчание говорит само за себя, прежде чем он открывает рот.

— Мне снилось лицо, — произносит он наконец, тихо, будто выпуская из себя что-то, что держал под ребром весь день. — Перед тем, как мы подошли к Ветрени. Бледное, безликое почти, как лунный свет на воде. Я не понял тогда, что это, счёл дурным сном после долгой дороги. А сегодня на меже, в тот миг, когда ты увидела в ржи белое, мелькнуло то же самое. Тот же свет, то же безличие. Я не хотел пугать вас раньше времени тем, что сам не мог объяснить.

Огонь трещит, роняя искру на земляной пол, и Милица смотрит на жреца так, как смотрят на человека, впервые открывшего дверь в комнату, где, оказывается, заперто не одно, а много всего.

— Ты мог сказать это утром, — говорит она, и в голосе её нет упрёка, только усталость. — Мы шли бы иначе, смотрели бы иначе.

— Может, и мог, — отвечает он, не отводя глаз. — Я подумал, что сон — это сон, а поле — явь, и одно с другим смешивать рано. Оказалось, не рано.

Милица долго смотрит на него, и в этой тишине между ними становится тяжелее, чем было бы от крика. Она чув-

ствует: то, что он сказал, — правда, но не вся. Что-то ещё жрец держит при себе, за золотыми глазами, спрятанное так же надёжно, как оберег Пелагеи под её собственным поясом. Спрашивать сейчас, добивать его этим взглядом, она не станет, чутьё говорит ей, что для этого разговора час ещё не пришёл.

— Ладно, — говорит она вместо этого, поднимаясь и отряхивая подол от золы. — Завтра в полдень идём на то самое поле, где выжжен круг. Она выходит в самый солнцепёк, значит, там нам её и ждать.

Олег хмыкает, разминая плечи, будто уже готовится к драке, хотя до неё ещё целая ночь.

— Последняя спокойная ночь, — говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь, глядя в огонь.

— Спокойной я бы её не назвала, — отвечает Милица, но садится обратно к костру, поближе к теплу, потому что от сырых дров толку немного, а от разговора холод внутри только гуще.

Даромир молчит, и по тому, как он смотрит в темноту за приоткрытой дверью сеней, туда, где над крышей соседнего двора чернеет беззвёздный клочок неба, Милица понимает: он думает не только о полднице.

Глава 5. Ритуал против тьмы

Роса лежит на стерне тяжёлым сизым покровом, и каждый шаг оставляет за собой тёмный след, будто кто-то прошёл по полю с ведром воды и полил дорожку нарочно, чтобы отметить путь. Солнце ещё не поднялось выше нижних веток ольхи на краю деревни, свет косой, жёлто-медовый, безобидный на вид. Даромир знает, что через два часа это же солнце встанет прямо над головой и станет тем самым огнём, в котором любит купаться нечисть, ждущая свою жертву в самый зной.

— Иди тише, — говорит он Ярошу, хотя парень и без того ступает так, будто боится разбудить землю. — Роса шумит громче, чем кажется.

Ярош кивает, не глядя на него, и всё смотрит вперёд, туда, где среди пшеницы темнеет выжженный круг. Отец не пустил бы его, если бы знал, но староста спал ещё, когда сын выскользнул за ворота и пристроился к отряду молча, с вилами в руках, как будто вилы могли что-то решить в деле, где решает не железо.

Даромир на ходу проверяет обереги — те, что на поясе, те, что вплетены в перевязь меча, тот, что висит на шнурке под рубахой, теплый от тела. Пальцы находят каждый узел привычно, без взгляда, и в этой привычности есть что-то успокаивающее, будто перебираешь чётки. Он шепчет молитву

Яриле, ту, что творит каждое утро с тех пор, как принял постриг: слова о свете, разгоняющем тьму, о силе солнца, текущей в руки жреца. Обычно на этом месте молитвы в груди разливается тепло, лёгкое, как первый глоток мёда натошак. Сегодня оно приходит позже, чем должно, и слабее, будто солнце светит через плотную ткань. Даромир останавливается на полшаге, хмурится, повторяет про себя последнюю строку — и тепло наконец приходит, но с запозданием, которое ему не нравится.

«Устал, — думает он. — Ночь короткая, сон дурной. От того и отклик ленивый».

Он не верит себе до конца, но иного объяснения нет, и потому убирает мысль в сторону, туда же, куда убрал вчера белый камень с межи и чёрную прогалину в северном небе. Складывает бережно, как в укладку, которую откроет позже, когда придёт время.

Олег идёт слева, тяжело, но неслышно — редкое умение для человека такого роста, — и в правой руке у него оберег Пелагеи, тот самый, с вывернутым знаком, обмотанный красной нитью. Даромир видел, как богатырь ночью долго вертел его у костра, разглядывая царапины на дереве, будто хотел прочесть в них что-то, чего не прочтёшь.

— Думаешь, пригодится? — спрашивает Даромир, не оборачиваясь.

— Не знаю, — отвечает Олег. — Но раз он приманивает, может, и отогнать сумеет, если держать иначе. — Он вертит

оберег в пальцах, знак смотрит то вниз, то вверх. — А может, я просто не хочу его в избе оставлять. Мало ли кто ещё захочет его найти.

Милица идёт справа, шаг у неё широкий для роста, уверенный, меч на боку бьёт по бедру в такт ходьбе. Она молчит долго, но Даромир чувствует затылком её взгляд, тот самый, каким она смотрела вчера у костра, и знает, что молчание это временное.

— Ты так и не сказал мне всё про камень, — произносит она наконец, когда они минуют последний ряд плетня и выходят на открытое поле. — Вчера сказал «показалось, что видел», а не «не видел». Это разные слова, Даромир.

— Разные, — соглашается он, и голос его звучит ровно, слишком ровно для человека, которому нечего скрывать. — Потому я и выбрал их осторожно.

— И что это значит?

— Значит, что я сам ещё не понял, что видел. — Он смотрит вперёд, на межу, туда, где земля черна и странно суха посреди сырого от росы поля. — Когда пойму, скажу первой тебе, а не старосте и не отцу твоему. Этого хватит на сегодня?

Милица щурится, и по этому взгляду ясно, что ей не хватает, но она не давит дальше, только роняет короткое «ладно», которое звучит скорее как отступление перед боем, чем как согласие.

Ярош за их спинами вдруг подаёт голос, тонкий, ломкий

на переходе:

— Здесь Аким последний раз проходил, — говорит он, кивая на едва заметную тропку в пшенице, притоптанную и уже наполовину заросшую. — Тут его видели, а дальше — нет. Отец не велел мне ходить сюда, говорит, беду за собой приведу. А я хочу знать, куда человек пропадает среди бела дня. Разве плохо — хотеть знать?

— Не плохо, — отвечает Даромир, глядя на парня чуть дольше, чем требуется, потому что в этом вопросе слышится эхо его собственного, заданного себе вчера над белым камнем. — Только знание бывает такой платой, что потом не радуешься, что спросил.

Ярош хмурится, не понимая до конца, но кивает, потому что жрецу перечесть не принято, а вилы в его руках держат крепче обычного.

Они выходят к меже, и первое, что видит Даромир — это не выжженный круг сам по себе, а то, каким он стал за ночь. Вчера полынь на границе круга была тёмно-зелёной, с сединой на кончиках стеблей, обычное растение, вырванное с корнем и уложенное человеческой рукой. Сегодня она чёрная, будто её опалило изнутри, не сверху, и стебли скрючились, свернулись, как палец мертвеца. Красная нить, которой полынь была перевита, потемнела до цвета запёкшейся крови, и в утреннем свете от неё исходит что-то, отчего у Даромира сводит зубы, тот же холод в груди, что чувствуешь, когда наступаешь по льду и слышишь треск под ногой рань-

ше, чем видишь трещину.

— Она была ближе к рыжему вчера, — тихо говорит Милица, останавливаясь на шаг от круга и не спеша подходить ближе. — Такой не помню.

— И не должна помнить, — отзывается Даромир. — Такой она стала за ночь, потому что то, что мы ждём, уже подошло достаточно близко, чтобы через нить чувствовать зов.

Олег присвистывает сквозь зубы, коротко, без веселья, и опускает оберег Пелагеи обратно за пояс, будто вдруг решил, что лучше держать его подальше от пальцев, чем близко.

Даромир опускается на колено у самой границы выжженного круга, не входя внутрь, и кладёт ладонь на землю рядом с почерневшей полынью. Земля тёплая, теплее, чем должна быть в этот час, теплее самого воздуха, и от неё слабо тянет тем запахом, который он не может назвать иначе, чем запахом палёного ветра — не дыма, не гари обычного пожара, а чего-то, что горело без огня.

— Полдень уже недалёк, — говорит он, поднимаясь и отряхивая ладонь о полу рубахи, хотя ничего к ней не пришло. — Ждать нам недолго.

Он смотрит на солнце, которое уже отделилось от верхушек ольхи и ползёт вверх увереннее, чем час назад, и чувствует, как в груди снова медлит тот отклик, который должен приходить сразу, без запинки, когда он взывает к своему богу. Медлит, но приходит. Этого, он говорит себе, должно хватить.

Тень от колосьев коротка — короче, чем должна быть в этот час, будто солнце поднялось выше своего обычного пути, и Даромир смотрит на эту тень дольше, чем на само солнце. Воздух вокруг круга становится плотным, тем плотным, что бывает перед грозой, когда каждый вдох даётся с усилием, а звуки доносятся глуше, словно уши забило воском. Пчёлы, которых он слышал ещё у разорённой пасеки, теперь молчат вовсе. Молчат и птицы. Только ветер шевелит рожь, ровно, привычно, но в этой обыденности есть что-то натянутое, как тетива лука за миг до того, как её отпустят.

— Полдень, — говорит Милица, не отрывая взгляда от поля. Она стоит чуть впереди, ноги расставлены на ширину плеч, рука на рукояти меча, но клинок ещё в ножнах. — Скоро.

Ярош переминается с ноги на ногу позади Олега, вилы дрожат в его руках мелкой дрожью, не от страха, понимает Даромир, а оттого, что парень слишком долго держит их наготове, слишком крепко сжимает древко.

— Может, пойти вперёд, — говорит он, и голос у него ломается на середине фразы, как у мальчишки, которым он всё ещё, в сущности, остаётся. — Может, тятка где рядом лежит, в пшенице, может, он ещё...

— Стой, — Олег кладёт руку ему на плечо, тяжело, без грубости, но так, что Ярош шатается от одного этого прикосновения. — Куда пойдёшь. В рожь эту самую ты ещё вчера

боялся заходить.

— Так тятка же там!

— Если он там, — говорит Олег ровно, глядя парню в глаза, — то ты его найдёшь мёртвым, а сам ляжешь рядом. Тебе такое надо?

Ярош замолкает, но плечи его не опускаются, и Даромир видит, как в парне борются два страха — тот, что держит его на месте, и тот, что толкает вперёд, к пшенице, к неизвестности, которая, может статься, милосерднее самого ожидания. Он знает это чувство. Знал его сам, в детстве, стоя у порога храма перед первым посвящением, когда неведомое манило сильнее самого страшного, что мог вообразить.

Он переводит взгляд обратно на поле, и что-то в этом взгляде цепляется, как цепляется взгляд за оброненную нитку на подоле — вроде мелочь, а не отпускает. Рожь колыхается. Но не так, как должна колыхаться под ветром, который дует со спины, со стороны деревни, к меже. Стебли клонятся навстречу этому ветру, а не по нему, будто под землёй, под самыми корнями, есть иное дыхание, и оно тянет колосья к себе, против всякой силы воздуха.

— Милица, — произносит он тихо, и в этой тишине больше тревоги, чем было бы в крике. — Погляди на рожь.

Она смотрит, и Даромир видит, как её плечи каменеют — коротко, на один вдох, а после она снова разворачивается вся, собранная, только рука на мече сжимается плотнее.

— Не по ветру, — говорит она.

— Не по ветру, — подтверждает он.

Олег тоже это замечает, и что-то в его лице меняется, пропадает та привычная невозмутимость, с которой он держится в любой драке, будто сама земля под ним стала менее надёжной, чем миг назад.

Даромир чувствует, как в груди начинает разгораться то знакомое тепло, отклик на близость своего бога, но сейчас оно приходит рывками, толчками, будто кто-то пережимает жилу и то отпускает её, то снова сдавливает. Он сжимает пальцы правой руки в кулак, разжимает, снова сжимает, пробуя унять это неровное биение силы, но оно не унимается, а лишь становится острее, ближе к боли.

И тогда на меже, там, где выжженный круг темнеет обугленной землёй, а почерневшая полынь свернулась скрюченными пальцами, проступает нечто белое.

Оно не выходит из ржи, как выходил бы человек, раздвигая стебли плечами. Оно просто оказывается там, будто было всегда, будто сама межа выдохнула его из себя, соткала из полуденного марева, дрожащего над горячей землёй. Фигура высокая, тонкая, с волосами, которые не лежат, а стоят вокруг головы, как нимб инея, и лицо у неё бледное, слишком бледное, лишённое черт настолько, что кажется отражением лунного света на воде — то самое лицо, что мелькнуло Даромиру в дрёме перед въездом в Ветрень, там, во сне, когда он ещё не знал, что оно значит хоть что-нибудь.

Он не произносит этого вслух. Но чувствует, как холод

проходит по спине, от загривка до поясницы, узнавание, острое, как порез.

Полудница не двигается к ним. Она стоит на выжженной земле, там, где сходятся линии почерневшей полыни, и смотрит. У неё нет глаз, которые можно было бы назвать глазами, лицо гладкое, почти пустое, но Даромир чувствует этот взгляд так же ясно, как чувствовал бы прикосновение чужой ладони, и от этого взгляда у него в груди сжимается что-то, будто чья-то рука обхватила сердце и медленно, без спешки, начинает сжимать пальцы.

— Не шевелитесь, — говорит он одними губами, почти беззвучно, потому что боится, что любой лишний звук будет истолкован ею как приглашение.

Олег замирает, топор в его руке опущен, но хватка на топорике становится каменной. Милица стоит неподвижно, только ноздри её раздуваются чаще обычного, и Даромир видит, как в ней собирается та же готовность к прыжку, что была у неё в детстве, когда он впервые увидел её на учебном дворе, десятилетнюю, с деревянным мечом, слишком тяжёлым для её рук, но она не выпускала его, пока пальцы не начинали кровоточить от заноз.

Полудница склоняет голову набок, медленно, будто прислушивается к чему-то, чего они не слышат, и от этого движения по пшенице проходит рябь, широкими кругами, как по воде от брошенного камня.

Именно в этот миг Ярош вырывается.

Даромир не успевает понять, как это произошло — то ли рука Олега на миг ослабла, то ли парень оказался проворнее, чем можно было ожидать от деревенского мальчика, — но Ярош вдруг оказывается впереди всех, ноги несут его прямо к меже, вилы вскинуты, а изо рта рвётся крик, надрывный, тонкий, полный той же боли, что была в его голосе минуту назад:

— Тятка! Тя-я-тка-а!

— Стой! — рывкает Олег, бросаясь следом, но Ярош уже пересекает границу выжженного круга, и Даромир видит, как почерневшая полынь под его сапогами вспыхивает на мгновение красным, будто угли, разбуженные дыханием, а красная нить натягивается, дрожит.

Полудница поворачивает голову к парню, и в этом движении нет спешки, нет ярости — только нечто похожее на любопытство, холодное, безучастное, как у зверя, разглядывающего добычу, которая сама пришла в силки.

— Назад! — кричит Даромир, и в этот момент он чувствует, как отклик бога наконец прорывается сквозь ту преграду, что держала его весь час, тепло разливается по рукам, до самых кончиков пальцев, и он знает, что мгновение, к которому он готовился с рассвета, наступает раньше, чем он рассчитывал, раньше, чем готов был отряд, раньше, чем готов был он сам.

* * *

Олег ревёт что-то бессвязное и бросается наперерез, и Да-

ромир видит его широкую спину, вздёрнутый над головой топор, весь этот разбег, полный слепой мужской ярости, которая всегда была в Олеге сильнее расчёта. Лезвие входит в белёсую фигуру там, где должно быть плечо, и Даромир на миг верит, что это сработает, что сталь довершит то, чего не смог довершить страх.

Топор проходит насквозь.

Ни сопротивления, ни брызг, ни хруста — только рябь по краю морока, будто по молоку, в которое ткнули пальцем, и лезвие вылетает с другой стороны, а полудница даже не покачнулась, не отшатнулась, будто удара и не было вовсе. Олег на развороте едва не падает, увлечённый собственной силой, впустую потраченной, и на его лице — короткое, почти детское недоумение человека, который всю жизнь верил, что любую беду можно разрубить, если руки достаточно крепки.

— Она не... — начинает он, и не договаривает.

Ярош стоит слишком близко, вилы в его руках дрожат, а полудница уже поворачивается к нему всем корпусом, неторопливо, будто у неё в запасе вечность, и Даромир видит, как из-под подола её белого рубища тянется что-то, похожее на туман, стелющийся низко над пшеницей, холодный настолько, что колосья под ним белеют, покрываются инеем прямо на глазах, посреди летнего полудня.

Милица оказывается рядом с парнем быстрее, чем Даромир успевает крикнуть. Она не рубит — разворачивает Яроша за плечо резким, отработанным движением, тем самым,

каким на учебном дворе разворачивала новобранцев, ставя их за собственную спину, и принимает удар морозного щупальца на клинок, подставленный наискось. Меч покрывается инеем в одно мгновение, будто его окунули в прорубь, и Милица шипит сквозь зубы, коротко, зло, но не отступает ни на пядь.

— За мной стой, — бросает она Ярошу через плечо, и голос у неё ровный, хотя рука, держащая меч, побелела так же, как металл.

Ярош не отвечает. Он смотрит мимо неё, на полудницу, и в его глазах — та же надежда, что была утром, глупая, отчаянная надежда узнать в этом безликом создании черты пропавшего отца, и Даромир понимает, что парень до сих пор не осознал, с чем они столкнулись, что для него это всё ещё, может быть, тятка, заблудившийся в поле, а не то, что стоит перед ними на самом деле.

Полудница смеётся.

Звук ударяет по ушам раньше, чем разум успевает его опознать, — детский, звонкий, тот самый смех, каким смеются девчонки на качелях, взлетая к небу, беззаботный, лёгкий, совершенно не подходящий к этому пустому лицу и белёсым волосам, липнувшим ко лбу, будто мокрые. Даромир чувствует, как по затылку и вниз по хребту проходит холод, не от ветра — от самого звука, от того, насколько он неуместен здесь, среди выжженной полыни и мёртвой тишины поля, и краем глаза видит, как передёргивает Олега, как у Милицы

на миг замирает дыхание.

— Тя-я-тька... — тянет полудница, растягивая слово голо-
сом Яроша, издевательски точным, и парень за спиной Ми-
лицы вздрагивает всем телом, будто его ударили.

— Не слушай её, — говорит Даромир, но собственный го-
лос кажется ему слишком тихим на фоне этого детского сме-
ха, слишком слабым, чтобы перекрыть его.

Он смотрит на морок, на то, как туман под ним стелется,
не касаясь земли по-настоящему, как контур фигуры на миг
размывается там, куда пришёлся удар Олегова топора, и сно-
ва сходится, целый, невредимый, и понимает — с той ясно-
стью, что приходит только в минуту крайней опасности, —
что перед ними не тело. Не тварь из плоти и крови, которую
можно повалить силой рук и остротой стали. То, что стоит
на меже, — сгусток чужой воли, чьей-то боли, обращённой в
морок нарочным обрядом, и рубить его мечом — всё равно
что рубить туман над рекой на рассвете, без толку, без смыс-
ла, только тратя силы, которых и так немного.

— Держите круг! — кричит он, и голос его наконец про-
рывается сквозь собственный страх, становится жёстким, ко-
мандным, тем самым голосом, которым он поднимал ново-
бранцев в атаку. — Оружием её не взять, слышите? Круг дер-
жите, не пускайте её дальше межи!

Олег оборачивается к нему, и на его лице — то же недо-
умение, что и минуту назад, но уже без растерянности, с
проступающей сквозь неё готовностью слушать и делать, что

скажут, потому что вся жизнь Олега строилась на простой истине: если богатырь не понимает, что происходит, слушай того, кто понимает.

— А ты что? — бросает он, перехватывая топор поудобнее, разворачиваясь так, чтобы прикрыть Милицу с фланга.

— Обряд, — коротко отвечает Даромир и уже опускается на одно колено, прямо в почерневшую полынь, чувствуя, как стебли крошатся под тяжестью тела в мелкий чёрный прах.

Он вытягивает вперёд руки, ладонями вверх, и начинает читать слова, которым его учили ещё юношей в святилище Ярилы, слова, которые произносятся не языком, а всем существом, всей верой, что в нём осталась, — призыв, который должен связать морок именем богов, если у него хватит сил довести его до конца.

Полудница снова смеётся, и на этот раз в смехе прорезается что-то иное, уже не детское веселье, а холодное любопытство твари, почуявшей, что игра становится серьёзнее, и туман под её ногами дёргается, тянется в сторону Яроша быстрее прежнего.

Ярош вскрикивает и оседает на колени прямо посреди круга, вилы выпадают из онемевших пальцев, а по его лицу разливается та же бледность, что была у него утром, когда он рассказывал про пропавшего отца, только теперь она глубже, страшнее, будто мороз коснулся не кожи, а самого нутра, и парень хватается за грудь, хрипло, коротко дыша, не в силах подняться, хотя губы его всё ещё шевелятся, повторяя одно

и то же слово беззвучно, одними губами:

— Тятка... тятка...

— Держи его! — кричит Милица Олегу, отступая на шаг, чтобы прикрыть парня собой, и в этот миг Даромир чувствует, как под ладонями наконец начинает разгораться тепло, медленно, будто уголёк, который долго не хотел заниматься, и понимает, что времени на раздумья больше нет.

* * *

Даромир вытягивает пальцы и сводит их в знак, которому его учили ещё отроком в святилище: большой палец прижат к безымянному, средний и указательный сомкнуты вместе, будто держат невидимый колос. Воздух перед ладонями тотчас дрожит, мутнеет, как над раскалённым в печи камнем в жаркий полдень, и сквозь эту дрожь земля под коленями кажется дальше, чем она есть, будто весь мир на мгновение отступает на шаг.

— Велес, отец звериный, хозяин путей подземных, — произносит он, и голос его звучит не так, как минуту назад, когда он кричал Олегу держать круг. Это другой голос, идущий не из горла, а откуда-то из-под грудины, туда, где живёт то небольшое, что осталось в нём от веры без сомнений. — Укажи ей путь туда, откуда пришла, не пускай дальше межи.

Морок под ногами полудницы вздрагивает, будто наступил на что-то живое, и тварь на миг замирает, повернув к нему бледное безликое пятно там, где полагалось быть лицу.

Даромир не останавливается. Второй знак — руки расхо-

дятся, ладони раскрываются к небу, и в этот момент он выкрикивает имя Сварога, кузнеца небесного, и жар прокатывается по рукам от кончиков пальцев до самых плеч, обжигающий, будто он сунул руки в горн по локоть. Пахнет палёным ветром, раскалённым железом, тем самым запахом, что стоит в кузнице, когда молот только оторвался от наковальни, и Даромир слышит, как трещит воздух вокруг его ладоней, а на коже, там, где секунду назад была просто плоть, вспыхивает тонкое золотистое свечение, неяркое, но живое, словно под кожей течёт расплавленный солнечный свет.

— Ты видишь? — доносится сбоку голос Милицы, и в нём удивление, смешанное со страхом, потому что она впервые видит его в полном обряде, не в куске молитвы над раненым, а в настоящем призыве трёх богов сразу.

Он не отвечает. Ответить сейчас значит выпустить нить, а нить эту он держит зубами, будто вожжи норовистого коня, и стоит ослабить хоть на волос — сорвётся.

Третий знак самый трудный. Он сводит ладони вместе, пальцы переплетаются, и в груди становится тесно, будто кто-то невидимый сжал ребра железным обручем.

— Перун, громовержец, sесаśij тьму, — начинает он и осекается на середине слова, потому что звук вдруг ломается в ушах, как трещит сухая ветка под сапогом, только громче, ближе, прямо внутри черепа. Свечение на его руках дёргается, меркнет почти до полной темноты, и на этот короткий миг Даромир чувствует, как холод подступает к самому

сердцу, будто дверь, за которой горело тепло, вдруг захлопнулась перед носом.

«Не сейчас, — думает он, и мысль эта острая, паническая, ничего общего не имеющая с той спокойной верой, которой его учили. — Не может быть, чтобы не сейчас».

Свет вспыхивает снова, рваный, неровный, будто пламя свечи на сквозняке, то разгораясь до слепящей белизны, то опадая до тусклого уголька. Даромир сжимает зубы так, что скрипит челюсть, и заканчивает слово с усилием, какое, наверное, требуется, чтобы вытащить застрявшую в грязи телегу.

— ...secašij тьму секирой небесной, свяжи её именем своим!

Полудница воет.

Вой этот не похож ни на человеческий крик, ни на волчий, ни на что вообще из того, что Даромир слышал за годы службы в золотом отряде. Он идёт сразу со всех сторон, отражается от ржаного поля, от неба, от самой земли, и от него хочется зажать уши руками, но руки заняты, руки держат обряд, и Даромир только стискивает зубы крепче.

Тварь мечется в кругу, ломая колосья пшеницы там, где секунду назад стояла спокойно и смеялась, будто игралась с детьми. Она рвётся к меже, к тому месту, где выжжен круг, где полынь и красная нить сплетены нарочным умыслом, и на миг Даромиру кажется, что она проскочит, вырвется, растворится в поле, как утренний туман растворяется под пер-

вым солнечным лучом. Но что-то держит её, невидимая паутина, натянутая между тремя именами, которые он выкликнул, и полудница дёргается на этой паутине, как рыба на леске, бьётся, а вырваться не может.

— Держится! — кричит Олег, и в его голосе облегчение мешается с недоверием, будто он до последнего момента не верил, что слова могут удержать то, что не удержал топор.

Даромир не отвечает и на это. Каждое новое слово, которое он произносит, довершая обряд, стоит ему целого вдоха, будто он не читает молитву, а бежит без остановки много вёрст в тяжёлых доспехах, и грудь горит так, что кажется, будто там, под рёбрами, тлеют угли. Пот заливает глаза, стекает по вискам, капает с подбородка в почерневшую от морока полынь, и с каждой каплей ему кажется, что сила уходит из него быстрее, чем должна, быстрее, чем уходила в прошлые разы, когда он вязал такой же морок в других деревнях, в других полях, при других полуднях.

«Не хватит», — думает он, и эта мысль пугает его сильнее, чем вой полудницы, сильнее, чем бледное лицо Яроша, оседающего рядом на колени. Он чувствует, как золотое свечение на руках начинает мельчать, съёживаться, будто источник, из которого оно течёт, где-то там, в мире Правы, вдруг стал уже узкой горной расщелины, а не полноводной рекой, какой он помнил его прежде.

Полудница воет снова, дёргается на невидимых путях ближе к меже, и Даромир, стиснув зубы до боли в скулах, тянет-

ся всем существом за новым словом, зная, что если оборвётся сейчас, если не хватит сил довести обряд до конца, тварь вырвется и тогда уже ничто, ни оружие, ни молитва, не остановит её до следующего восхода.

* * *

Ярош больше не пытается держаться на ногах. Он ползёт, загребая землю пальцами, оставляя за собой борозду в примятой ржи, и лицо его белое, как у покойника, ещё до того, как что-либо случится, будто тело уже знает то, чего не знает разум. Он полз прочь от круга, к дальнему краю поля, туда, где темнеет линия леса, и Даромир, краем сознания, отмечает это движение, но не может отвлечься на него, не может даже повернуть голову — весь он сейчас в трёх именах, которые держит на языке и на руках, и стоит отпустить хоть одно, паутина лопнет.

Полудница слышит Яроша раньше, чем видит.

Она разворачивается в круге резко, всем телом, как разворачивается флюгер под внезапным порывом ветра, и воет уже не в небо, а прямо на него, на этого мальчишку, ползущего в пшенице. В вое появляется что-то новое, узнавание, почти нежность, от которой у Даромира по хребту бегут мурашки, потому что он понимает: она чувствует в Яроше не просто жертву. Она чувствует в нём кровь пропавшего Акима, отца, который сгинул в этом же поле три дня назад, и тянется к сыну так, как тянется мать, обезумевшая от горя, не к добру, а к тому единственному, что у неё осталось от прежней жизни.

— Ярош! — кричит Олег и срывается с места.

Он бежит наперерез, огромный, тяжёлый, и земля под его сапогами гудит, но полудница быстрее, она не бежит, она течёт над рожью, как туман течёт по низине, и белое платье её вздувается парусом. Олег успевает добросить себя телом между мальчишкой и тварью, успевает закрыть его собой, широкой спиной, руками, но морозное касание духа не спрашивает, кто стоит на пути. Оно проходит сквозь плечо Олега, задевает его вскользь, и богатырь коротко охает, будто получил удар в грудь, а сама тварь дотягивается пальцами до Яроша поверх его плеча.

Даромир видит, как парень дёргается один раз, всем телом, как рыба на суше, и обмякает.

Дыхания больше нет. Это видно сразу, без нужды подходить и щупать шею — по тому, как безвольно откидывается голова, как тело перестаёт быть телом живого человека и становится просто грузом на земле.

На один удар сердца весь мир Даромира схлопывается до этой картины: русая макушка в пшенице, неподвижная рука, вывернутая под неестественным углом. Слово, которое он держал на языке, третье имя, вылетает из головы, будто его выдернули щипцами, и золотое свечение на его ладонях гаснет разом, съёживается до тусклой искры, едва теплящейся под кожей.

Паутина между тремя именами дрожит.

Полудница чувствует слабинку мгновенно, звериным чу-

тѣм твари, привыкшей выискивать трещины в чужой воле, и рвѣтся к меже с новой силой, воя уже не горем, а торжеством, будто уже видит себя вырвавшейся, растворившейся в закатном небе.

— Держи слово! — кричит Милица, и голос её режет сквозь звон в ушах Даромира резче, чем полуденный вой. — Даромир! Держи слово, я закрою!

Она не ждёт ответа. Она уже между ним и тварью, меч в опущенной руке, но не поднят, потому что оружие тут бессильно, она просто заслоняет его собой, узкой спиной, рыжей косой, выбившейся из-под платка, и в этот миг Даромир видит не воительницу, не княжну, а живой щит, который сама себе назначила быть, не спросив ни у кого разрешения.

Что-то в груди у него ломается и одновременно срывается заново.

Он находит третье имя.

Голос не слушается, срывается на первом же звуке, горло будто набито колючей соломой, и всё же он проталкивает слово наружу, шёпотом, хрипом, чем угодно, лишь бы оно прозвучало, лишь бы паутина не лопнула там, где стоит Милица.

— Перуне... — выдыхает он, и это не молитва больше, это последний вздох утопающего перед тем, как воду. — Перуне, гряди, скуй её гневом твоим...

Руки не поднимаются сами. Он поднимает их через силу, будто тащит на плечах два жернова, и на ладонях вспыхивает

не золото уже, а белое, слепящее, короткое, как удар грозы, и этого хватает, хватает ровно настолько, чтобы паутина не порвалась, а натянулась в последний раз, ту же, чем прежде.

Полудница застывает в шаге от Милицы.

Она смотрит на неё — если можно назвать взглядом то, что происходит там, где должно быть лицо, — и в этом безликом мгновении Даромиру чудится узнавание, будто тварь видит перед собой не преграду, а нечто похожее на себя саму: женщину, готовую стоять между бедой и тем, кого она защищает.

А потом свет пробивает её насквозь.

Не пламя, не молния в привычном смысле, а именно свет, белый, беспощадный, идущий изнутри самой полудницы, будто она сама вдруг стала фонарём, в который налили слишком много масла и подожгли разом. Она не кричит больше — крик обрывается на середине звука, — и тело её, бывшее только что оскаленной злобой в человеческий рост, осыпается, теряя форму, теряя вес, превращаясь в серый, лёгкий пепел, который поднимается на миг вихрем и опадает медленно, покойно, на измятую рожь.

Пепел ложится на колосья, как первый снег на августовское поле, нелепо и тихо, и в этой тишине особенно слышно, как трещит догорающая полынь в выжженном круге на меже.

Даромир стоит ещё мгновение на ногах, глядя на это неуместное белое крошево на зелёных стеблях, а потом колени у него подгибаются сами, без спроса, будто кто-то од-

ним движением вынул из-под него весь костяк, и последнее, что он успевает почувствовать перед тем, как земля кидается ему навстречу, это чужое плечо, вставшее вовремя под его руку, и запах пота, крови и полыни, которым пропитано это плечо насквозь.

* * *

Земля идёт навстречу, но не так, как ждётся, — не рывком, не ударом лица о стерню, а мягко, будто кто-то подстелил под колени овчину. Ноги не держат. Даромир понимает это уже когда сидит, вдавленный в пепел и мятые колосья, и руки его лежат на коленях ладонями вверх, пустые, обугленные по краю пальцев, как обгорелые с краю поленья.

Пепел ещё тёплый. Он чувствует его сквозь порты, сквозь тонкую кожу, и это тепло странно ласковое, будто земля хочет утешить его за то, что он сделал с тем, что здесь стояло минуту назад.

Воздух вокруг круга ещё живой. От выжженной межи расходится волна жара, не огненного, а того особого, тяжёлого зноя, каким пахнет разрытая печь после хлебов, — и в этом зное чудится последний выдох существа, которого больше нет. Даромир видит, как марево идёт по земле кругами, задевая колосья, заставляя их клониться, будто по ним прошёл невидимый зверь.

Волна катится на него.

Он не успевает даже поднять руку. Милица оказывается перед ним раньше, чем он осознаёт, что она рядом, — разво-

рачивается спиной к пылающему кругу, спиной к жару, плечом принимая то, что должно было хлестнуть его по лицу. Он видит, как ткань на её плече вспыхивает не пламенем, а краснотой, будто кожу под рубахой лизнули раскалённым железом, видит, как она вздрагивает всем телом и не издаёт ни звука, только челюсть у неё каменеет, а ноздри раздуваются шире.

— Милица...

Голос выходит хрипом, комом соломы в горле, и он сам не слышит собственных слов.

— Молчи, — говорит она, не оборачиваясь, и в этом слове слышится не приказ, а что-то усталое, домашнее, как если бы она говорила эти слова много раз прежде, кому-то другому, в другой жизни. — Сиди. Не вставай.

Он и не может встать. Тело не отзывается ни на одно требование, будто из него вылили весь костный мозг, оставив снаружи только оболочку. Он смотрит на свои руки, ищет в них хоть что-то из прежней силы, но там пусто, там выжжено дотла, там только зуд под кожей, похожий на укус тысячи мошек одновременно.

Дальше, за спиной Милицы, за границей выжженного круга, — тишина другого рода. Не той, что стоит после победы, а той, что стоит над телом.

Даромир поворачивает голову с трудом, будто шея у него ссохлась и закрипела в суставе, и видит Олега.

Богатырь стоит на коленях рядом с чем-то тёмным, рас-

пластанным среди смятой ржи. Ярош. Даромир не сразу узнаёт его по лицу — лица уже нет того, что было утром, когда деревенский парень шёл с ними на поле, крепко сжимая вилы, шутил зло и нервно про то, что бабка его учила плевать через левое плечо на нечисть, — а узнаёт по разодранному вороту рубахи, по знакомой заплате на локте, какую видел ещё когда шли через деревню.

Олег молчит.

Это молчание страшнее любого слова. Даромир не помнит случая, чтобы богатырь молчал дольше, чем требуется на один вдох, — у него на всё находилась прибаутка, поговорка, скабрёзная шутка не по месту и не по времени, и это было частью того, каким он был, каменной опорой отряда, которая гудела басом даже в самых чёрных переходах. Сейчас он снимает с плеч свой плащ, серый, пропылённый дорогой, и накрывает им то, что осталось от Яроша, медленно, будто боится потревожить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.